

# **МИРЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО**

Белград – Москва  
2011

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
БЕЛГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА  
МЕМОРИАЛЬНАЯ КВАРТИРА АНДРЕЯ БЕЛОГО

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства  
науки Республики Сербии

Редактор:  
проф. д-р Александра Вранеш

Редакторы-составители:  
проф. д-р Корнелия Ичин и д-р Моника Спивак

Составители:  
Иоанна Делекторская и Елена Наседкина

Художественное оформление обложки:  
Анна Неделькович

Рецензенты:  
проф. д-р Таня Попович  
проф. д-р Михаил Вайскопф

ISBN 978-86-6153-018-0

Тираж 500 экз.

Издательство филологического факультета в Белграде  
11000 Београд, Студентски трг 3, Република Србија

Подготовлено к печати и отпечатано в типографии  
„Graficar“, 31205 Севојно, Горјани бб, Република Србија

## «ВОСПОМИНАНИЯ СТРАННОГО ЧЕЛОВЕКА» АНДРЕЯ БЕЛОГО

*Предисловие, публикация и примечания А.В. Лаврова*

В обзоре «Литературное наследство Андрея Белого», составленном в 1937 г. К.Н. Бугаевой, А.С. Петровским и Д.М. Пинесом, в рубрике «Черновики, первоначальные наброски» помещено следующее сообщение: «У Р.В. Иванова: <...> «Воспоминания странного человека» [1919 г.?]. Черновик «Записок чудака», неполный, полулисты 21–47 и 57–183; кончается главкой 41-й; на обороте лл. 162–176 с новой пагинацией идет продолжение главки 41-й»<sup>1</sup>. Эта информация восходит к составленному Р.В. Ивановым-Разумником описанию отложившихся в его архиве рукописных и машинописных текстов Андрея Белого, в котором указан и общий объем рукописи «Воспоминаний странного человека»: 153 полулиста<sup>2</sup>.

Особая значимость приведенной справки – в том, что она составлена еще в ту пору, когда архив Иванова-Разумника содержался в полной сохранности. Как известно, после оккупации Пушкина (Царского Села) немецкими войсками живший там Иванов-Разумник был депортирован весной 1942 г. в Германию; архив, оставшийся в его квартире без присмотра, постепенно разорялся и уничтожался. Когда Д.Е. Максимов в августе 1944 г. приехал в освобожденный город и посетил бывшее жилище Иванова-Разумника, его взору предстала горестная картина: дом «был изуродован и необитаем. Стены и крыша его сохранились, но ни рам, ни дверей, ни пола не было. <...> В доми-

<sup>1</sup> Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 633.

<sup>2</sup> ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 84. Л. 13. Судя по дневниковым записям сотрудника издательства «Алконост» (где печатались «Записки мечтателей») Г.Ф. Кнорре от 20 октября и 31 декабря 1918 г., в указанные дни начальные фрагменты текста «Записок чудака» были переданы в издательство (см.: *Лекманов О.А. Андрей Белый и Вячеслав Иванов в дневнике Георгия Кнорре 1918—1919 годов // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1. Отв. ред. К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.Б. Шишкин. СПб., 2010. С. 670–671, 675).*

ке Разумника Васильевича, в пустой комнате, на голой земле, иначе говоря, на том месте, где должен был быть пол, лежала огромная бесформенная груда бумаг, набросанных в полном беспорядке, как на свалке, спутанных и запачканных»<sup>3</sup>. Уцелевшие остатки архива тогда же были переправлены в Пушкинский Дом. Огромное количество творческих рукописей и писем, которые изначально были сосредоточены в этом собрании, рачительно сберегавшимся его владельцем, полностью утрачено, другие автографы сохранились не полностью или в дефектном виде. К числу последних относятся и «Воспоминания странного человека». Из указанных Ивановым-Разумником 153 полулистов (этим словом обозначен нестандартный формат листов бумаги, на которых зафиксирован автограф: 19,5 см в ширину и 39,5 см в длину – т. е. узкие и длинные полосы) сохранились в двух архивных единицах, по которым рассредоточена рукопись, всего 99 листов<sup>4</sup>. Таким образом, не менее одной трети текста утрачено. Учитывая же то обстоятельство, что значительная часть листов уцелела лишь частично, в обрывках, зачастую не поддающихся связному прочтению, можно заключить, что более трети объема текста, хранившегося у Иванова-Разумника, или около 40 %, до нас не дошло.

Предполагаемую датировку «Воспоминаний странного человека», которую указывают авторы обзора литературного наследия Андрея Белого (1919 г.), представляется возможным скорректировать. Сам Белый в ретроспективных записях «Ракурс к Дневнику» относит начало работы над произведением, которое будет опубликовано под заглавием «Записки чудака» (в первой публикации в «Записках мечтателей»: ««Я». Эпопея. Т. 1. Записки чудака. Ч. 1. Возвращение на родину»), к первым месяцам 1918 г.: «Делаю черновые наброски «Записок Чудака»» (февраль), «Много пишу «Записки Чудака»» (март), «Пишу «Записки Чудака» <...>. Чтение «Записок Чудака» у Григоровых» (апрель)<sup>5</sup> И далее, после перерыва в несколько месяцев: «<...> усиленно сызнава перерабатываю и пишу «Записки Чудака»» (октябрь 1918 г.); «<...> пишу «Записки Чудака»» (ноябрь)<sup>6</sup>. Хронологические атрибуции в данном случае могут оказаться неточными,

---

<sup>3</sup> Максимов Д. Спасенный архив // Огонек. 1982. № 49. С. 19.

<sup>4</sup> ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 11. 92 л.; Там же. Ед. хр. 31. 7 л. См. их описание: Лавров А.В. Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 37.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 91 об. – 92 об.

<sup>6</sup> Там же. Л. 95 об., 96 об.

поскольку здесь мы имеем дело с ретроспективной реконструкцией этапов творческого процесса; по содержанию же приведенных записей, имеющих самый общий характер, нет возможности установить, когда именно велась Белым работа над той версией текста, которая названа им «Воспоминаниями странного человека».

Дополнительные уточнения представляется возможным сделать благодаря биографическим сведениям, содержащимся в тексте этого произведения. В гл. 26 Белый пишет о себе: «<...> пять лет странствовал, поселился опять на Арбате, а ныне живу на Садовой». В доме № 6 по Садовой Кудринской улице Белый проживал с 14–15 февраля до сентября 1918 г. и затем с конца сентября до конца января 1919 г.<sup>7</sup> — т. е. в тех хронологических рамках, которыми обозначена работа над «Записками Чудака» в «Ракурсе к Дневнику». Еще одно хронологическое указание — в гл. 39 «Воспоминаний странного человека»: «Он продолжился, неоконченный разговор с Соловьевым, он длится всю жизнь: с 1900 года до осени 1918-го». Из этого следует, что осень 1918 г. — время оформления данного текста, или, по меньшей мере, данной его главы. По всей вероятности, «Воспоминания странного человека», представляющие собой черновую рукопись с двумя слоями правки (синхронной и выполненной по зафиксированному связанному тексту), писались в относительно сжатые сроки: в пользу этого предположения свидетельствуют и характерные особенности почерка, и тот факт, что весь текст записан на однотипных нестандартных листах (что уже было отмечено выше). Авторское сообщение о переработке «Записок чудака», отнесенное к октябрю 1918 г., видимо, подразумевает начало работы над тем вариантом текста произведения, который будет опубликован в «Записках мечтателей». Первый номер этого журнала-альманаха появился в продаже в августе 1919 г., но был отпечатан к июлю 1919 г. (3 июля он, в ряду других книг издательства «Алконост», был запрещен к выходу Петроградским Комиссариатом по делам печати, агитации и пропаганды; вышел в свет в результате ходатайства М. Горького и содействия А.В. Луначарского<sup>8</sup>). Таким образом, в первой половине 1919 г. окончательная версия начальных глав «Записок чудака», опубликованных в № 1 «Записок мечтателей», была завершена; предисловие Белого к «Запискам чу-

<sup>7</sup> См.: Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. А.В. Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 791 – 792.

<sup>8</sup> См.: Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1. Москва и Петроград. 1917 – 1920 гг. / Ответств. ред. А.Ю. Галушкин. М., 2005. С. 421, 436.

дака», там помещенное, датировано февралем 1919 г. (как правило, Белый сочинял предисловия к своим книгам по завершении их текста, представленного для опубликования). Тем самым можно сделать вывод о том, что значительного временного интервала между работой над «Воспоминаниями странного человека» (осень 1918 г.) и написанием начальных глав «Записок чудака» (осень 1918 г., зима 1918 – 1919 г.) не существовало.

Дополнительным аргументом в пользу этого заключения служит приведенная выше справка о рукописи, хранившейся у Иванова-Разумника. Автограф «Воспоминаний странного человека» в его архиве изначально был представлен в неполном объеме: в нем отсутствовали 30 листов рукописи из зафиксированных 183-х. Чем это было вызвано? Разумеется, не небрежностью хранителя рукописи: тщательная организованность и безупречная аккуратность – неотъемлемые черты Иванова-Разумника, прекрасно осознававшего культурную ценность своего архивного собрания. А потому закономерно возникает предположение, что недостававшие в комплекте рукописи листы изъясил сам автор – присоединил их к автографу переработанной версии текста или каким-то иным образом использовал их в ходе ее оформления, после чего, сдав подготовленный к публикации текст издателю, оставшиеся листы первоначальной версии, к публикации не предназначавшиеся (многие из них перечеркнуты), передал Иванову-Разумнику. Белый, чья хаотическая, стихийная творческая натура проявлялась и в том, что он был крайне невнимателен в плане сохранения и упорядочения своих рукописей, время от времени теряя их и даже случайно уничтожая вместе с ненужными бумагами, хорошо понимал, что под присмотром Иванова-Разумника его автографам будет гарантирована самая надежная сохранность. В 1920-е годы у Иванова-Разумника сосредоточилось значительное количество творческих рукописей Белого, которые в большинстве своем в 1932 г. были переданы на государственное хранение. В пользу высказанного предположения свидетельствует тот факт, что нижний край одного из листов (содержащего начало гл. 10) отрезан ножницами – единственное из повреждений текста, сделанное с определенным умыслом.

Согласно цитированной выше справке, текст «Воспоминаний странного человека» состоит из 41 главы. В сохранившейся рукописи полностью отсутствуют главы 2–4, 11, 12, 19–23: всего 10 глав. Текст многих других глав представлен не полностью – без конца или без начала, с отсутствием листов или фрагментов листов внутри главы. Благодаря нумерации глав, а также, в еще большей мере, авторской нумерации листов автографа нам удалось расположить подавляющее

большинство сохранившихся листов рукописи в линейной последовательности. Лишь три небольших фрагмента текста (каждый – на обрывке листа) включить в эту последовательность оказалось невозможным, поскольку верхняя часть соответствующих листов, на которых была обозначена авторская нумерация, не сохранилась. Руководствоваться же смысловыми или образными соответствиями с другими фрагментами текста для включения их в общую композицию нет достаточно надежных, безусловных оснований: повествовательный ряд в «Воспоминаниях странного человека» – это череда свободных ассоциаций при отсутствии прагматически выстроенного событийного сюжета, поток интроспективных картин и описаний, насыщенный образами внешнего мира, но не управляемый и не координируемый ими.

Таким образом, сохранившаяся рукопись «Воспоминаний странного человека» – это 14 фрагментов, последовательно располагаемых в соответствии с их местоположением в несохранившемся полном авторском тексте и отделенных друг от друга отсутствующими фрагментами текста различного объема – от нескольких глав до одного-двух листов автографа, а также 3 коротких фрагмента, местоположение которых внутри текста однозначному определению не поддается<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> В архивную подборку листов с автографом «Воспоминаний странного человека» включен также (вероятно, на основании идентичности с нестандартным форматом бумаги) лист с автографом и с авторской подписью, представляющий собой окончание текста (авторская нумерация – л. 15), очевидных соответствий с «Воспоминаниями...», на наш взгляд, не обнаруживающего. Приводим здесь этот фрагмент (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 91. В тексте цитируется поэма Н.А. Клюева «Песнь Солнценосца», 1917): «< > века – уже на себя повернулась: взорвать оболочку свою – здравый смысл и «рассудочную культуру», приведшую нас... к катастрофе; мы теперь ясно видим: рассудочный смысл, в нас раздувшись до мирового всего, разлетелся на части.

Кровь из сердца нам бросилась в анемичный, рассудочный мозг; искры вспыхнули; высекаем мы свет из очей.

Будет день: Солнце Духа, взойдя в сердце нашем, протянется из очей наших светлыми и отразится на зеркале небосвода: восходом Огромного Солнца; о нем сказал Клюев:

А красное солнце – миллионами рук

Подымет над Миром печали и мук.

Человечеству суждено разорваться, если оно не поймет, что в металлах закованы «души природных существ»; освобождение их – переплавка продуктов природы из пушечных жерл в храмовые потиры:

В потир отольются металлов пласты,

Чтоб солнца вкусили народы-Христы.

В миг разрыва в нас «здорового, материального смысла» восходит заря: Солнце Разума подымается в нас.

Андрей Белый».

Все в той же справке о «Воспоминаниях странного человека» этот текст квалифицируется как «черновик» «Записок чудака». Такая характеристика нуждается в корректировке. Текст «Воспоминаний...» – действительно черновой, содержащий в основном густую синхронную правку, осуществлявшуюся непосредственно по ходу первоначальной фиксации текста, а также в ряде случаев и правку позднейшую. Однако как черновик опубликованной редакции текста под заглавием «Записки чудака» эту рукопись определить нельзя: лишь в отдельных случаях между двумя текстами прослеживаются непосредственные аналогии – как, например, между началом 41-й главы «Воспоминаний...» и началом главы «Памир: крыша света» в «Записках чудака»:

«Воспоминания странного человека»:

«С 1899 по 1906 год летами проживал я в имении, в Тульской губернии (я был там и в 1908 году); дом, коричневатый, одноэтажный, глядел девятью стеклоглазыми окнами в даль пространства, с бугра, обрывающегося над быстрою, чистой серебряною речкою, окаймленной густыми кустами; терраска казалась при поднятой высоко-высоко; если бы сбегать с той терраски и углубиться вдоль дома в аллею, высоковерхие липы, шумя, скрыли бы солнце и небо, мечта свои сеточки золотые на красный, хрустевший песок; если бы подняться наверх по дорожке, перпендикулярной к аллее, горбато бегущей все вверх по пологому склону, то вы попали бы в обширный квадрат, весь обсаженный старыми тополями; в пространстве меж ними росли молодые, зеленые яблонки; незадолго до этого времени их сажал мой отец <...>».

«Записки чудака»:

«С 1899 года по 1906 год проживал я в имении: в Тульской губернии; девятью стеклоглазыми окнами старый, коричневый дом из-под крон тополей глядел в дали пространства, с бугра; а бугор обрывался к серебряной, чистой речонке, полузакрытой ольховыми купами; мне казалась терраса старинного дома высоко-высоко приподнятой; а аллея шла вбок от нее; высоковерхие липы шумели; – над желтым песочком металась раскидисто перпендикулярно к аллее горбато бежала дорожка на холм; и, раздвигая суки изломавшихся яблонь, с нее попадали в обширный квадрат, образованный с трех сторон серебристыми тополями» и т.д.<sup>10</sup>».

<sup>10</sup> *Андрей Белый*. Записки чудака. М.; Берлин: Геликон, 1922. Т. 1. С. 48-49.



В то же время, если мы сопоставим конец гл. 41 «Воспоминаний...» с концом цитированной главы «Памир: крыша света», то убедимся в том, что между ними нет ничего общего. От гл. 1 «Воспоминаний...» уцелело лишь начало, но если мы сопоставим сохранившийся фрагмент с началом первой главы «Записок чудака» («На холме»), то убедимся в том, что соотношение между этими текстами не может быть адекватно определено как соотношение «черновика» и «беловика».

«Воспоминания странного человека»:

«Я хочу описать одно место. И – один момент времени. Это место мне стало родным; я к нему иногда обращаю свой взор; воспоминание строит мне образы; вижу явственно: образы, встающие здесь мне, из этого места, – значительней всех, восставших мне в жизни.

Момент, пережитый мной здесь, может быть, – значительнейший из моментов, когда-либо посланных человечеству<sup>11</sup>; он – момент начала падения огромного периода времени, столетия окостеневавшего великолепными памятниками культуры: объявление мировой, небывалой войны.

Место, близкое мне, затерялось под Базелем между двумя швейцарскими деревеньками: Арлесгеймом и Базелем. Это место есть холм; он зелеными склонами мягко сбегает в долину; долина же тянется до границы Эльзаса, откуда – перед дождем, когда небо особенно ясно, проступят, синевя, далекие гребни Вогез; и – опять запахнутся густеющим воздухом».

«Записки чудака»:

«Я стоял на лобастом холме; надо мной розовела руина; зарели из зелени крыши домишек; там – Дорнах; там кряжисто стены бросали в зарю черепицу; там Бирс под горбатым мостом обрывал, клокоча, белоструи; равнина тянулась за ним; распахнулся отчетливо воздух; и синие гребни Эльзаса прорезались явственно; бухала пушка оттуда.

Два года ворчала громами на нас мировая война; воздушные светлы лучил просвещающий воздух; зарело: зеленоватое небо казалось стеклянным; лилово-багряные ключья летели; синились окрестности; брызнули звезды; остановился и – долго смотрел

---

<sup>11</sup> В автографе: человечество

пред собой; знал, что – кану отсюда; меня призывали; как малое зернышко, должен был ссыпаться я в ненасытную молотилку войны»<sup>12</sup>.

Отчетливого представления относительно общей композиции сохранившегося во фрагментах и, по всей видимости, незавершенного текста «Воспоминаний странного человека» мы составить не можем, однако имеющегося материала достаточно для того, чтобы убедиться в том, что эта композиция – совсем иная, чем в «Записках чудака» (где, например, фрагменты о Бергене, Льяне, латинисте Казимире Кузмиче, соответствующие главам 13, 17 «Воспоминаний...», содержатся во 2-м томе, а цитированная выше глава «Памир: крыша света», соответствующая последней, 41-й, главе «Воспоминаний...» – в начале 1-го тома). В известном смысле «Воспоминания странного человека» и «Записки чудака» соотносятся друг с другом так же, как заглавия этих произведений: «воспоминания» могут быть уподоблены «запискам», а «странный человек» – «чудаку», однако синонимические ряды предполагают все же различие слов, их составляющих. Многие в «Воспоминаниях странного человека» говорится о том же, о чем повествуют «Записки чудака», но – говорится по-другому. Правомерно квалифицировать «Воспоминания...» как прототекст «Записок чудака», как своего рода текст-программу, текст-абрис, текст – предварительный конспект будущего масштабного произведения, в соотношении с которым развертывается пространное итоговое повествование, восполняясь и обогащаясь дополнительными штрихами, деталями, описаниями, целыми эпизодами и щедро разветвляясь посредством форсированной орнаментальной стилистики. Темы, лаконично обозначенные в прототексте, в ряде случаев выстраиваются в многостраничную композицию: например, начало главки 13 «Воспоминаний...», где сообщается о двух посещениях автором Бергена – в 1913 г. и проездом в 1916 г., в «Записках чудака» разрастается в протяженный текст, охватывающий пять глав («Перед Бергеном», «Три года назад», «Берген», «Площадь», «Сумасшедший»). При этом и отдельные эпизоды, сравнительно лаконично изложенные в «Воспоминаниях...», при перенесении – и почти повторении – их в «Записки чудака» дополнительно детализируются, как, например, сценка на вокзале в Льяне:

---

<sup>12</sup> Там же. С. 11.

«Воспоминания странного человека»:

«Я вскочил и пошел к поезду, чтоб вернуться засветло в Христианию, где еще мне надо было справляться о поезде в Хапаранду. Я встретил учителя старичка (соединенного воспоминанием с сыром):

- «Вы?»
- «Я...»
- «Опять поселитесь у нас?..»
- «Нет, проездом...»
- «Жена?..»
- «Я оставил ее...»
- И мы попрощались».

«Записки чудака»:

«Вскочил и пошел к поезду, чтоб до ночи вернуться; представьте же, встретил учителя, проживавшего с нами; узнал старика я по прожелтну уса, по индиго-синим глазам, на меня устремленным (хотя он был в шляпе, а шляпа меняла его).

- «Вы?»
- «Как видит».
- «Что же вы – к нам? поселитесь у нас?»
- «Я призван».
- «В Россию?»
- «Я призван».
- «Фру Нэлли?»
- «Оставил ее...»
- «Ай-ай-ай: как же так?»
- «Да вот – так».

Мы сердечно еще поболтали; и – после сердечно простились»<sup>13</sup>.

По объему «Записки чудака» превосходят свой прототекст в несколько раз. Это происходит не только за счет большей детализации и конкретизации повествования, но и благодаря введению новых мотивов и кумулятивному развитию тех мотивов, которые в прототексте были лишь обозначены. В этом плане самое заметное отличие: в

<sup>13</sup> Там же. Т. 2. С. 195.

«Воспоминаниях странного человека» – по крайней мере, в сохранившихся фрагментах – не получает глубокого развития тема сыска, преследования, понизывающая всю ткань «внешнего» повествования в «Записках чудака» и господствующая во внутреннем мире героя-повествователя. «Сер», «брюнет в котелке» и другие фантомные образы формируют сюжетную ось «Записок чудака», чего нельзя сказать о первоначальной версии текста. Образ Леонида Ледяного – ипостаси автора в «негативном» периоде его самосознания и творчества – обозначается в «Воспоминаниях...», однако еще не акцентируется в той мере, в какой это происходит в «Записках чудака», где устанавливается оппозиция «автор» – «герой» и соответственно происходит расщепление на Андрея Белого и Леонида Ледяного. В прототексте Андрей Белый повествует о себе, герой не отчуждается от автора, напротив – манифестируется единство героя и автора, всячески подчеркивается неукоснительный автобиографизм излагаемого. В этом отношении «Воспоминания странного человека», при всей установке произведения на отображение подспудных внутренних иррациональных импульсов и сокровенных, порой фантазмагорических переживаний, правомерно рассматривать как хронологически первый в творчестве Андрея Белого опыт автобиографического мемуарного повествования, предшествовавший «Воспоминаниям о Блоке», берлинской редакции «Начала века» и позднейшей мемуарной трилогии.

\*

Фрагменты «Воспоминаний странного человека» публикуются по верхнему слою авторской правки чернового текста. Текст хранится в фонде Иванова-Разумника в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 3. Ед. хр. 11, 31). Последовательность листов в архивной раскладке – иная, чем в предлагаемой композиции фрагментов.

## ВОСПОМИНАНИЯ СТРАННОГО ЧЕЛОВЕКА,

Андрея Белого\*.

<I>

1

Я хочу описать одно место. И – один момент времени. Это место мне стало родным; я к нему иногда обращаю свой взор; воспоминание строит мне образы; вижу явственно: образы, восстающие здесь мне, из этого места, – значительней всех, восстававших мне в жизни.

Момент, пережитый мной здесь, может быть, – значительнейший из моментов, когда-либо посланных человечеству<sup>а</sup>; он – момент начала падения огромного периода времени, столетия окостеневавшего великолепными памятниками культуры: объявление мировой, небывалой войны.

Место, близкое мне, затерялось под Базелем между двумя швейцарскими деревеньками: Арлесгеймом и Базелем<sup>б</sup>. Это место есть холм; он зелеными склонами мягко сбегает в долину; долина же тянется до границы Эльзаса, откуда – перед дождем, когда небо особенно ясно, проступят, синяя, далекие гребни Vogез; и – опять запахнут-ся густеющим воздухом.

На зеленеющих склонах расселися старые, черепитчатые домишки; здесь и там проступают они красноватыми пятнами крыш из плодовых деревьев, разряжаясь и снова сближаясь; зимами, когда зелени нет, обнаруживаются здесь и там деревеньки: как на ладони, стоят они; и точно бросаются к вам, приближаясь невероятно (и кажется: до этой старой, сереющей колоколеньки протяните руку – наверное вы дотянетесь; а когда побежит в марте зелень волной от долины и быстро подыметесь вверх, одевая деревья, кустарники, травы и затопляя домишки, то все отдалится; и даже ближняя крыша, пока–

*<Последующий текст утрачен: 10 листов автографа, за исключением фрагмента II>*

---

\* Публикация и примечания А. В. Лаврова

<sup>а</sup> В автографе: человечество

<sup>б</sup> Так в автографе. Видимо, описка; подразумевается: Дорнахом.

<II>

<Фрагмент, относящийся к гл. 2 – 4>

Так именно живописует природные факты. «Романа» с природою нет у него: ее знает извне он.

Наблюдение такое природы возможно в период, когда вся она обернулась явлением: убежав из души, *нам предстала* («явилась»), как призрак.

Наблюдение, описание, классификация убежавшей от нас части < > явленной перед нами как п<рирода?> < > наш жест: от вторженья бессмыслицы с аккуратно размеренной <?>, буржуазной <?> действительности.

Природа – двойник; встреча с нею для комнатного сознания есть ужас; от ужаса мы – закрываемся стенами: наблюдение, описание; классификация есть стена. Но за стеной ждет *двойник*.

Современные «опыты» часто – бои с двойниками; разнообразие опытов истерзало на части явление природы; отношение наше к нему – точно к телу врага, по которому мы бьем мечом; и итоги дробленья – кусочки действительности; мы их прячем в темницы: музеев и спиртовых препаратов; номенклатура научных понятий – градация камер тюремного замка природы; боги, демоны, души, тая свои лики в вуалях стихий, истомились в гробах: в классификационных системах. Мы заключили стихии духовных существ в паровозных и паровых котлах: в динамите и порохе; не удивительно: боги, демоны, души разбили оковы; и – расползаются вокруг нас: страшным миром машин; демоны, от которых оторваны мы и с которыми мы столетья боролись, терзая их груди киркой, повосстали вокруг нас – не из пены морской (как бывало): горластыми жерлами пушек из волн

<III>

<Окончание гл. 5>

[укрепилась во мне:

– «Где? Когда это было?»

– «И было ли?»

– «Было...»

Еще долго потом среди улиц, в кругу оживленных бесед, между двух подъездных дверей охватывала идея о совершенном предательстве, и я силился вспомнить хотя клочок факта, доказывающего его; увы, – фактов не было; анализируя свою прошлую жизнь, свои встречи и мысли в Швейцарии, анализируя свои сны, приходил я к нелепо-

му выводу, будто чист и невинен; но факт вопиющей невинности при уверенности в обратном был источником невыразимых терзаний моих.

Медленно я выздоравливал. Реже и реже охватывали меня подступы моей странной болезни, реже и реже в России вставал предо мной отвратительный сёр. Я его в последний раз видел уже не в английском участке, ни даже в русском участке, а... представьте себе: на Ярославском вокзале, кушающим отбивную котлетку (это было в до-революционное время: незадолго до убийства Распутина)<sup>1</sup>; отвратительный сёр, кушая отбивную котлетку по соседству со мною, пытался было угрожать мне глазами:

– «А вот – я... А вот – я».]

Мысленно ему я ответил:

– «Поедьте-ка со мною в Сергиевский Посад... У меня там такие друзья, что...».

Подбежавший носильщик вручил англичанину желтый билет (уезжал он в Архангельск).

Более я не видел его. Знаю я, это он писал Бурцеву; и после этого появилось сенсационное заявление Бурцева о немецком шпионе<sup>2</sup>; повторился со мною припадок моей нервной болезни: последний припадок.

Припоминая болезнь, припоминаю я палубу норвежского пароходика<sup>3</sup>; припоминая, как волны плескали студеным прибоем; и как стеклянная полоса пробегала мне под-ноги: и – куда-то стекала; Немецкое Море шумело в тумане; неопределенность грядущего подступала; тоска по оставленной не покидала меня; казалось: сажень в полтора от нас обрывалось море: в тумане таилась земля; на земле сидел Англичанин, чтоб предложить мне сигару; но нос парохода, минуя немецкие мины, врезаясь в прыжки серых волн, набегал на туман; и туман расступался; и земли, от нас отстоящие в расстоянии каких-нибудь сажень полтора, бежали по правую и левую сторону парохода – в расстоянии сажень полтора от нас, чтоб, собравшись там, за кормой, гнаться вместе с туманом за нами – в расстоянии каких-нибудь сажень полтора.

## 6

Вспоминая тот день, вспоминаю я узел душевных событий, бегущий вперед и назад: настоящее, как транспарант, просквозило событиями прошлого; прошлое – было ли? Отошло ли оно? Все мне кажется, что года пережитий со мною; и каждый мой миг тяжело переполнен годами: теряю иллюзию времени; забываю, что было, что есть; мои прошлые миги чреваты грядущим; грядущее проговорило

невнятно из них, теперь лишь развертывая предо мной необходимые следствия. А настоящее, как настоящее, – пусто; чревато прошедшим оно; к нему возвращаешься и опять, и опять, чтоб понять для себя громовое кипение нас обстоящих событий.

Два, три мига – огромны в событиях моей жизни; мне блещут, как молнии, освещая года: таким мигом мне помнится Берген, – тот Берген, который нас встретил и пурпуром мха, покрывающего вершины, и осенней лучистостью блесколетного солнца: мы с Нэлли когда-то здесь пережили огромный глагол<sup>4</sup>.

И знали ли мы, – знал ли я, что чрез три с лишним года я буду опять подплывать к этим милым местам из туманов Немецкого Моря с разбитой душою и зараженный ужасной болезнью, без Нэлли; нет, этого не опишешь.

Помню: ночью взлетали огромные белые клочья; и – перекидывались за борт, обдавая меня ледяною, соленою влагой; на губах осушалась соль; скользкая палуба накренялась; и бок парохода скрипел; из трубы вылетали, стреляя в пространство, вонючие дымы; палуба опустела; лишь там, на носу, обнаружился вновь котелок, принадлежавший, конечно, брюнету; брюнет в котелке с двумя усиками, разумеется; завелся близ меня, обнаружась на палубе после нашего выхода в Немецкое Море; так же он обнаруживался для меня и в Лозанне, и в Цюрихе: за стеною [отдельного номера, в поезде, на прогулке; если он поселялся в отэле (за стеной у меня), то он вел себя с удивительной тихостью; и просиди я безвыходно день, я его бы не мог обнаружить; если он сопровождал меня в поезде, то садился он обыкновенно не рядом, а наискось, где-нибудь в уголке; появление его я не мог обнаружить; но во время движения поезда, обыкновенно в минуту, когда отдавалась душа пейзажу летящих долин, деревень с обрамляющими их горами, покрытыми виноградником, и когда на душе становилось легко, беззаботно и все мрачное отпадало, – именно в такую минуту всегда обнаруживал я из-за края газеты меня дозирующий глаз (черный глаз), кончик уса; и – котелок; это все возвращало к тяжелому настоящему:

– «А вот – я... А вот – я...»

Сколько бы я ни старался с презрением относиться к сопровождающей личности, все во мне обволакивалось неприятным туманом: туманилась радость, туманился пейзаж; стоило невероятных усилий, чтоб не сделать сидящему спутнику маленькой гадости: проходя не задеть край газеты; или не подмигнуть ему:



– «Честь имею представиться...»

Так и здесь, на пароходике, брошенном между Ньюкастлем и Бергеном, обнаружился мой давнишний знакомец: брюнет в котелке; но на этот раз он прикинулся; я его не сразу заметил: все утро, всю ночь накануне провели мы с ним в оживленной беседе; он втиснулся с чемоданами в тесное пространство каюты и оказался доктором из Одессы, поспешившим мне объяснить, что три уже года работает он в Швейцарии у профессора по сердечным болезням, что теперь призывается он, как и я, на военную службу; фамильярно потрещивая меня по плечу и коверкая русский язык, он взял тон добродушного превосходства и мне, москвичу по рождению, принялся он характеризовать московскую жизнь, побрызгивая слюною в меня и раздражаясь потоком невежеств; он довел меня до мигрени, а когда же принялся я примачивать голову одеколоном, то он обезьяньим каким-то движением цепкой руки вырвал мой пузырек и, приставив его к обезьяньим, моргающим глазкам, воскликнул:

– «Ха!.. Кельн...»

На мгновение мне блеснуло:

– «Ну да, это русский шпион.... Он теперь уличает меня, доказывая, что я купил эту склянку в Германии...»

Вырвавши у него пузырек, я показал ему дополнительную наклейку с надписью: «Базель». И он успокоился. Я на него не сердился. Я знал, что дорога от Англии до России наполнена агентами; их присутствие приходится переносить с добродушной покорностью, как присутствие надоедливых насекомых в русском провинциальном отеле; запасясь порошком против блох, можно даже с комфортом путешествовать в третьем классе.

7<sup>c</sup>

Днем я отделался от моего дотошного доктора; и вопрос о его принадлежности к русской охранке не занимал меня вовсе; но ночью, на палубе, когда появился его силуэт на носу, отвлеченный от черточек, штришков и ужимок, которыми он себя осыпал, как паяц, осыпающий себя пудрою, – проступил тот же контур: брюнет в котелке, принадлежащий к... к чему вот? К международному обществу сыщиков? Нет. К обществу, выслеживающему все нежнейшие движенья души, чтобы их исказить? Тоже нет... К страшному братству, стремящемуся сорвать уже близкое пришествие Духа и обрекающему<sup>d</sup> на

<sup>c</sup> Вписано карандашом.

<sup>d</sup> В автографе: обрекающего

позор и на гибель тех именно, в тайнике душевных движений которых хоть раз, точно молния, вспыхивал Дух, – почему знаю я...

Знаю одно: именно после событий, свершившихся для нас с Нэлли, когда, взявшись за руки, без единого слова взглянули друг другу в глаза мы, прочтя в них «навсегда... одно...»<sup>5</sup> – именно после духовного перерождения нашего, бывшего в Христианин<sup>6</sup> и продолжившегося в Бергене, появилась вокруг меня вся эта *грязная пакость*: едва мы покинули Скандинавию и вступили на континент Центральной Европы, мне стало ясно:

– «Жди мести...»

Со стороны кого?.. Я не знаю...]

7°

Терпеть не могу я Берлина... В безвкусице Лейпцигер-Штрассе, в циничнейшей сутолоке на Фридрих-Штрассе мерещутся ужасы, до которых не может дойти воображение утонченнейших модернистов; здесь не просто безвкусице; здесь открытое торжество сатанизма, для вида лишь скрывшего невероятный свой лик под оболочкой здоровья и пошлости: я больней, извращенней, чудовищней не встречал атмосферы, чем атмосфера Берлина; *они* здесь устроили выставку богохульств и кощунств... Эти рожи реклам, профанация священнейших знаков (треугольников, шестиконечных звезд, пентаграм<м>) кричит с пестрых вывесок; кто жывал в городских больших центрах и кто не вовсе слепой, – тот давно знает диавольские приемы, к которым *они* прибегают; священнейшие созерцания – знаки – имеют огромную силу; нельзя безнаказанно для себя начертать треугольник; треугольник, написанный вершиною кверху, окрашивает незаметно для нас самосознание наше; если я напишу ряд углов (вершиною кверху), то устремление кверху, к вершине, окрасит мне день; и я поймаю себя, насвистывающим лейт-мотив из Вальгаллы<sup>7</sup>, треугольник, написанный вершиною книзу, взрывает в душе мелодии Парсифаля<sup>8</sup>.

Но если бы я начертал треугольники на подошве калоши сознательно, я бы свершил кощунство. Между тем: кто из нас не носил глянцевитых калош, штемпелеванных треугольником для попиранья священного знака ногами<sup>9</sup>; священнейший знак мы раздавливаем между ногами и грязной панелью; и оттого-то привязывается к нам на грязных панелях столиц тот слюнявый разврат, от которого мы погибам.

---

<sup>9</sup> Вписано карандашом.

Профанация священнейших знаков проведена *ими* в жизнь; незаметно *они* вовлекают всю жизнь в осуществление черной мессы своей.

Берлинские улицы – осуществленная черная месса; здесь брUNET в котелке, размалеванный цинично на вывеске, с высоты шестизэтажного дома, осклабясь, показывает на штемпелеванную подошву над снующей толпой; здесь горит электричеством над аптеками опрокинутая пентаграмма (то есть, знак черной магии); и несчастные люди из этой аптеки себе добывают гнуснейшие порошки; аптеки Берлина – распространители циничнейших приспособлений людского разврата; звездой Соломоновой здесь штемпелюют товар. Кто в душе своей носит хоть отблеск духовного опыта, – для того очевидно: берлинские улицы – осуществленная черная месса; прохожие – в нее завлекаются; стройная организация ужаса проведена *ими* в жизнь: мы оклованы *ими*; и мы – бессловесные твари, уготованные на заклятие Демону. Души наши при помощи магических действий, влитых в обыденные действия, соединяются с демонами, выгрызающими нам сознание; системою шпионажа и сыска – душевного сыска – предупреждается *ими* всякое касание Духа; и совершись где-нибудь случайное возрождение духа в разбитой душе человеческой, их поганые инструменты, расставленные в астрале, показывают магической стрелкой туда, где горит звезда света и где родился «младенец»... И туда, в этот пункт, направляют *они* свои силы; гонения начинаются; и вокруг человека, имевшего просветленье души, появляются воины Ирода (для избиенья «младенца») – подозрительные брUNETы и прочие персонажи Международно-Астрального Сыска; организация действует совершенно; «гнездо мрака», имеющее седалищем души некоторых почтеннейших «херров», «сёрров», «мосье», действующих через Кундри<sup>10</sup>, разумеется, не обнаруживает себя на общественном поприще, а – прокалывает астральными токами через Женщину всех крупнейших [агентов государственного сыска: эти агенты Бесовского Государства (принцип государственности – великолепный экран, которым *они* заслонили свои ужасные действия от человечества, обреченного *ими* на гибель) – эти агенты Бесовского Государства не подозревают, конечно, кому они служат; они – только медиумы, как... Азеф<sup>11</sup>; но они, пропуская через себя силу ада, способны устраивать в мире смерчи: мировых, бессмысленных войн; и способны срывать революции. Дьявольская охранка стоит за охраною государственных интересов; пояись среди нас высокоразвитая духовная личность, – *они* постараются вовремя ее устранить, вовлекая ее в свои сети и штемпелюя ей душу клеймом *государственного преступника*.

Во мне есть подозрение: происшествия, бывшие со мною и Нэлли, не поддаются обычному толкованию; наша жизнь за последние годы – невероятная сказка; и до сих пор все мне верится: молния Духа однажды сверкнула над нами – на миг; все же след этой молнии сохранила душа, вычерчивая невероятные паденья и взлеты; *они* это видели; и оттого-то *они* постарались меня опорочить; выпрямись я, освободись от позорнейших недостатков, которые *они* ввели в мою кровь, я бы мог быть опасен их делу; поэтому надо им заранее обезопасить себя от возможных во мне возрождений; надо раз навсегда устранить меня вовремя от арены общественных выступлений; для этого надо меня опорочить; вернейшее средство для этого – наложить клеймо государственного преступления.

И я твердо уверен; что если бы в бессознательном состоянии сна повстречался я с бессознательным состоянием сна представителя германского шпионажа (состояние сна есть действительность астрального мира), то эта встреча подстроена – каким-нибудь херром, проживающим около Нюрнберга, или каким-нибудь сёром, имеющим замок в Шотландии и не выдавшим меня, но отметившим миг духовного моего возрождения по дрожанию стрелки сейсмографа, им поставленного *туда; там*, в ближайших к нам зонах духовно-душевного мира, расставлены *сёрами, херрами и мосье*, проживающими в своем собственном доме и занимающимися, быть может, крупными промышленными предприятиями, – чувствительные аппараты, подобные минам: едва душа вынырнет из повседневного сна и раскроется, как цветок, по направлению к упавшему Свету, как ... выстрелит мина; и – достойнейший сёр сообщит, куда следует: где-то родился младенец; его надо убить.

И тогда-то вот представитель международно-астрального сыска, быть может, заведующий торговыми предприятиями сёра, направит две своры своих верных агентов: одна свора, вылетев из телесных составов своих, как рой ведьм из трубы, начинает рыскать в пространствах душевного мира, стреляя по всем направлениям струями отравляющих похотей (посещают вас страшные сны, вы тоскуете, чувствуете беспокойство, испуг); другая же свора агентов отыскивает вас на физическом плане и расставляет вокруг вас грязные капканы свои; вы встречаете женщину; и она соблазняет вас; вы поддаетесь соблазну, потому что все сны ваши и все действия бессознания уже пропитаны

---

<sup>f</sup> *Вписано карандашом.*

ядами стаи, стреляющей в ваши сны; около вас подсаживается господин в котелке с соглядатаем и начинает с вами вести воровской разговор, которого не понимаете вы; третий же соглядатай, представитель государственного порядка, уже мотает на ус себе:

– «Он – подозрителен».

За вами устанавливается внешний полицейский надзор и собираются против вас все улики несвершенного преступления; их нельзя опровергнуть; кто-нибудь совершает насилие над малолетнею девочкой (совершает насилие вас преследующий сатанист); его агенты сопровождают по городу вас в том расчете, чтоб вы, убегая от них, направились в то уединенное место, где только что совершилось насилие; представитель же государственного порядка, заранее приведенный в уединенное место, вас видит, запоминая ваш вид (его уж уведомили, что вы подозрительны); вскоре обнаруживается преступление, совершенное в уединении общественного парка; полиция поднимается на ноги; представитель порядка, вас видевший, доносит на вас; и вы – арестованы. Если даже вас оправдают, то все ж: подозрение в преступлении повиснет над вами.]

9<sup>в</sup>

[До войны еще чувствовал, что нас с Нэлли выслеживают после огромных событий, свершившихся в нашей внутренней жизни. О событиях этих говорить очень трудно; не все понимаю я в них; все же я попытаюсь здесь описать их, как факты переживаний сознания; произошли они в Христиании; и – главным образом в Бергене; подготавливались в Москве, в Монреале, в Каире; и – продолжились в Дорнахе<sup>12</sup>.]

Нам было ясно, что нам не простят: ураганы духовного света промчались сквозь души; и после них остается нам – вынести тернии: преследований и гонений.

Раздавленный англичанами, подозреваемый в шпионаже, я вспомнил – все, все в миг той ночи, когда пароход, разрезая валы, неся по морю, изборожденному минами, по направлению к Бергену, где когда-то душа переживала светлейшие миги; и жизнь наша с Нэлли, перевернувшись, окрасилась ослепительным светом. И созерцая фигурку, с меня не сводившую глаз<sup>h</sup>, вспомнил я один факт, бывший между мною и Нэлли через много уж месяцев после нашего путешествия в Берген.

<sup>в</sup> Вписано карандашом.

<sup>h</sup> В автографе отиска: с нас

Мы оба устали; пути духовного странствия порой ложились на нас угнетающим бременем; была ночь; ветер выл; это было в одной из уютнейших южнонемецких провинций; черепитчатые крыши домишек озарялись луной. Нэлли, милая Нэлли, пришла ко мне и безмолвно вперила в меня свои грустящие очи; я ей говорил:

– «Нэлли, Нэлли... Мне трудно...»

И Нэлли сказала:

– «Неужели же ты забыл Берген»...

– «Нет, я не забыл: но дни Бергена кажутся мне огромною снежной вершиной, с которой свалился я»...

На другой уже день моя милая Нэлли, печально глядя на меня, развернула газету; и – подала ее мне.

В газете стояло: «Берген. Такого-то числа около Бергена разразилась сильнейшая буря... С маяка увидали сигналы о помощи... Где-то у Бергена разбилась норвежская шхуна».

Почему-то тогда отдалась жутко мне телеграмма из Бергена; мне казалось: корабль, оснащенный здесь, на котором мы с Нэлли должны были плыть в страны Духа, подвергся крушению. Именно: в ночь воспоминаний о Бергене, когда нам казалось, что Берген недостижим уже мне, – около Бергена раздавались крики о помощи: *мои крики о помощи; это я погибал.*

Вот почему ночь на Северном море, когда подплывал я опять к далеко отошедшему в прошлое Бергену (и без Нэлли!), преследуемый, с разбитой душою в сопровождении гнусного котелка, дозирующего безмолвно меня, – вот почему эта ночь врезалась мне совершенно особенно; вспомнил я наше тихое сидение вместе, когда Нэлли мне говорила: «И ты забыл Берген?..»

Были там крики о помощи: то душа моя прокричала грядущим; грядущее это осуществилось для меня через три с лишним года: то я, погибающий, подплывал снова к Бергену; мои собственные душевные крики у бергенских берегов я слышал тогда.

И подумалось:

– «Милая, любимая Нэлли: ты – слышишь ли? Слушаешь ли? Снова просят о помощи около Бергена. Тут корабль погибает. Спаси меня, Нэлли».

Светлело уже. Представитель гнуснейшего сыска, с рассветом опять обернувшийся представителем государственного порядка, путешествующего под псевдонимом доктора из Одессы, уже рассыпал вокруг меня свою пудру смешков и бахвальств; вокруг затуманилось

все; подплывали мы к бергенскому фиорду; казалось: где-то рядом пред нами земля, отстоящая в расстоянии каких-нибудь саженей полтора.

Этот миг вспоминается мне; и с него поведу я повествование о себе...

И о Нэлли.

10

И возникает она<sup>1</sup>

<Последующий текст утрачен: 17 листов автографа (гл. 10–12), за исключением фрагмента IV>

<IV>

<Фрагмент, относящийся к гл. 10–12>

[< >ющих чувств; и все первые годы скитаний по Западу с Нэлли были чтением гениальной системы, которая охватила меня; или лучше сказать: путешествием по новооткрытой планете, которой не знает никто; эта тонкая «прерафаэлитская барышня», неделями сидящая на диване с закуренной папироской в зубах, — предо мною впервые раздвинула перспективы культуры; через нее я впервые увидел богатство, обилие, роскоши Божьего мира. В Москве проводили года мы за чаем пред грудой окурков, решая проблемы культуры; мы исписали десятки печатных листов, оповещая вселенную о высочайших, тончайших, мудренейших состояниях<sup>2</sup> сознания; и — о творчестве жизни; но наше творчество жизни не шло далее пыльных листов создаваемых рукописей, чаепитий, питающих дух шарлатанства и заседаний, вгоняющих в... неврастению и геморрой; геморроидальные неврастеники, забывающие природу и мир, — мы кончаем слова о грядущем, о творчестве жизни, — за водкою, в кабаках, в санаториях.]

<V>

13

[Не стану описывать Берген.

Скользнул мимо он; и оказался не тем вовсе Бергеном, где открылись нам с Нэлли невероятности, ждущие человечество.

---

<sup>1</sup> Было:

3

Нэлли! Нэлли!

(Тебя нет со мною: ты — тихий мой свет, боль и радость.

И Нэлли встает предо мной (*Нижний край листа с текстом отрезан*).

<sup>2</sup> В автографе: состояний

Домики поглядели не так на меня. Деревенская стройка ганзейских купцов – достопримечательность Бергена – была уничтожена страшным пожаром, случившимся здесь, – вскоре после нашего отъезда из Бергена; и общественный сад показался мне скучны<м>; и не было пурпура мхов на горах, окаймляющих Берген; особенный запах мне слышался в гавани; запах соли, испорченной рыбы и смеси ветров, весь пронизанный табаком раскуряемых трубок; среди лоцманов, контролеров, матросов, поставщиков и шпионов, бредя сиротливо вдоль гавани, слышал тот запах: смесь соли, ветров и чешуй...<sup>к</sup>

Переезд в Христианию совершили мы ночью; великолепные камни лазурного цвета прошли под покровом ночи; не видел их я; и туманы, и ливни висели на склонах.

Провел в Христиании я сиротливые сутки, бродя по окрестностям; был я и в Льяне<sup>13</sup>.

Льян притаился на скалах; и простирает из сосен он крыши смеющихся виллочек; виснет над фиордом; когда-то сбегали мы вниз – я и Нэлли – сидеть и прислушиваться к разговору испу<ган>ных струек, выплеснутых на < ><sup>1</sup> и жмурилась Нэлли, следя з<а?> < > <струя>ми <?>; вспыхивал невероят<ный за>кат; и – не хотел погасать.

Я удивляюсь норвежским закатам, отряхивающим окрестности; чистота и спокойная ясность пресуществляет фиорды; дыханием бирюзового воздуха тянутся дали; и яснолапое облако виснет: не тает; и как улыбки растянутся желто-лимонные полосы ясности среди залазуренной влаги; лежат, постепенно желтея, туманясь; и – гаснут.

Бывало, закутавшись в плащ с капшоном, чернея из зорь силуэтом, зовет меня Нэлли домой:

---

<sup>к</sup> *Зачеркнутый первоначальный вариант начала фрагмента:*

Я не стану описывать Берген.

Скользнул мимо он; оказался не тем вовсе Бергеном, где когда-то открылось нам с Нэлли, что путь посвящения обретен.

Домики поглядели не так на меня; и стоящий на площади особняк, напоминающий чернобельми пятнами зебру, не тронул мне сердце напоминаньем о том, что здесь начинается переулочек, куда мы с Нэлли ходили и где в старом домике приютилось помещение [*ложги*]; в нем пережили так много мы.

Деревянная стройка ганзейских купцов – достопримечательность Бергена – выгорела; общественный сад показался мне неприятным и скучным; не было пурпура мхов; был особенный запах, щекочущий нос, и состоявший из смеси ветров, соли, рыбы и крепкого табаку; он усиливался в толкотне (близ гавани) лоцманов, контролеров, агентов, поставщиков

<sup>1</sup> *Край листа с текстом оторван.*



– «Нэлли, – милая Нэлли: минуточку... Можно ли оторваться от этого?»...

Я показываю рукой на медузы, едва проступающие бирюзоватыми студнями спин под струею воды, на дыхание бирюзового воздуха; и – на облако.

Нэлли бесит меня: с прищуренными глазами она озирает небрежно *все это*; и не имеет намеренья зарисовать в свой альбом:

– «Ну и что ж? Вода, воздух, парус... Медузы...»

– «Холодная ты...»

– «Я устала от *этого*: да и потом – *оно злое*»...

– «А чистота эта, ласка?»

– «Чистота чистотой: в ласке этой – обман; под ней слышится злость; вспомни Грушеньку Достоевского...»<sup>14</sup>

И повернувшись к закату спиной, карабкаемся по утесу: домой.

## 14

В Льяне прожили мы пять недель<sup>15</sup>; и закаты нас мучили; комната наша четвертой стены не имела; стеклянная дверь на балкончик, висящий над фиордом, да окна бросали пространства воды в чересчур освещенную комнату; впечатление, что она – только лодка, не покидало меня<sup>m</sup>; мне казалось: на двух перевязанных лодках из досок устроили пол; на пол бросили столики, две постели, два кресла; столики завалили бумагами мы; на двух креслах сидели с ногами – с утра и до вечера, погружаясь то в думы, то – в схемы, пестрящие множество в беспорядке лежащих листов; когда по утрам просыпались – то два окна и стеклянная дверь, на балкончик, бросали на нас очертания берегов; казалось: незамкнутой стороной – зачерпнет наша комната бирюзового воздуха: мы – опрокинемся; не успеем вскричать, – и очутимся в матово-мутных пространствах воды; там прочертится образ красавицы; скажет красавица:

– «Здра<в>ствуйте: милости просим – на дно, в глубину, в вечный сон».

Вскакивали с постелей; спешили вниз, к кофэ, где добродушный учитель, года обитающий в пансионе фру Нильсон, кивая, отрезывал ломти норвежского сыру, и где философствовал, как и вчера, наш инспектор полиции (получивший отставку и поселившийся здесь коротать свои дни): показав мне редиску, обыкновенно он спрашивал:

---

<sup>m</sup> В автографе описка: мне

- «Как по-русски?»
- «Редиска».
- «А по-норвежски то – “*рэдикер*”».

Утреннее перечисление корней начиналось:

- «Радикс»...
- «Рэдикер»...
- «Редиска»...
- «Расин»...
- «Радикал»...

Мы бежали обратно наверх, в наши кресла: сидели с ногами на них; утреннее размышление нас ждало; тянулось часами оно.

## 15

Если вы будете размышлять на неизменную тему в определенные часы дня ряды месяцев, то размышления многих месяцев соединятся; и посетит вас обычное чувство: будто вы возвращаетесь к той же работе, ее продолжая; вы не будете испытывать вовсе, что вы начинаете размышлять; пусть лежит между двух размышлений размеренный день; пусть течет злоба дня; размышление утра никак не ворвется в обычное «*трезвое*» дело; и – не сместит перспективы обычного распорядка действительности; будете вы деловитей, трезвее; но в миг размышления, – заботы отхлынут с тем большею легкостью, чем продолжительнее период поставленной вами задачи: *столько-то минут размышлять*.

Размышления утра соединятся для вас: в «*рытье мысленной ямы*». Она удлинится в колодезь, и будет однажды вам миг, когда брызнет источник воды – в глубине размышления; расширив колодезь из мыслей, увидите вы – глубины протекающих вод, на вас брызнувших неожиданно: и то будут мысли, самопроизвольно ожившие в мысли обычной; мы жизненных мыслей не знаем; обычные мысли – не мысли: орудия, при помощи которых мы ищем в толще наших истин – других, напоминающих бьющий подземный источник, kloчущий струями; вся обычная логика – маленький нам подаренный кем-то участок земли, на котором мы, собственники, обыкновенно сажаем лишь «*овоци*»; «*овоци*» мысли – предмет – есть людской предрассудок; из предметов построены стены строений, в которых живем мы; здесь взрыта поверхностно почва; подпочвенных мыслей нам нет; мы не знаем источников, пересекающих все границы поверхностной собственности; наш участок (сознание) пересекается водами мысли; и участок соседа пересекается ими же; размышление нам взрывает ис-

точник; и разбиваются косности недвижных пластов; впечатление, ждущее нас у источника мысли, – ни с чем не сравнимо; переживающие расширение мысли испытывают катастрофу; им кажется: собственность мысли утрачена; *мысли мыслят себя*; мысли вырвались из обычного круга сознания; само оно увлекается мыслями; в мощном токе клокочущих образов, перерезающих подпочву сознания, топится стылое «я», растворяясь до дна в себя мыслящей мысли; я кажусь себе схваченным и унесенным далеко за грани участка, мне данного в собственность (головы); и захоти я вернуться, могу ошибиться я, вынырнув не к себе самому, а ... например, в мысли Нэлли.

Опыты упражнения с мыслью перемещают границы сознания и научают, ныряя в источники мысли, выныривать к ближнему, переживать его; и, ныряя обратно, опять возвращаться в свой мозг, чтоб в мозгу пережить еще раз воспоминание о состояньи сознания, смежного с вами (извне обведенного черепом); ясновидение может развиться сознательно в нас: оно – ясномыслие.

Утренние размышления наши, которым мы отдавались подолгу в нам памятном Льяне, нам были лишь продолжением мыслей, положенных перед собой на протяжении ряда месяцев: мы вели бродячую жизнь; Мюнхен, Базель, Фицнау, Берлин, Нюренберг, Штутгарт, Луцк, Петербург, Гельсингфорс, снова Мюнхен и Дрезден, Берлин, Христиания промелькнули нам издали; а состояния сознания по утрам возвращали нас к все той же работе, поставленной нами: к работе сознания – к углублению колодца из мыслей.

Странные перемещенья сознания переживали мы с Нэлли, касаясь потока себя оживляющих мыслей, пересекавшего внешнюю замкнутость; погружаясь в себя и расширяя потоки из мыслей, я мыслил отчетливо мыслями Нэлли; да, и Нэлли бывала во мне; да и я бывал в Нэлли; без слов узнавали друг друга мы с ней; но касаться словами бывавших событий мы избегали, конечно; лишь в схемах, в которые мы облекали невыразимые состояния мыслей, – как в знаках, мы видели, что источники новых узнаний – все те же у нас; и страна мыслеобразов Нэлли – моя; и ее страна – мои мысли; достаточно было друг другу показывать схемы: вот распятый на кресте световой, белый голубь; а вот – гексаграмма, написанная не обычно, а единым штрихом; вот – спирали сложения многообразнейших лепестков; взглянув на все это, могли проверять мы друг друга: и у меня, и у Нэлли рисунки – лишь уплотненья до знака мыслительных ритмов, в которых<sup>n</sup> себя изживал пронзающий нас обоих источник мыслительности.

---

<sup>n</sup> В автографе: в котором

Если бы я уплотнил в брэнном слове одну из меня посещающих мыслей, нарисовалось бы вот что: —

16°

— садился в удобное кресло; внимание сосредотачивал на исконную мысль; и она оживала во мне; втягивала в себя мои чувства и импульсы; тело мое покрывалось ритмами; не ощущал вовсе косности я обвисяющих органов; мне роились страннейшие ритмы; и ощущение тела слагалось в образ распухшего облака, изборожденного молньями; в те минуты глаза останавливались на вершине сосны; и я видел, не видя: как ширился вокруг сосны голубой ореол; но о нем я не думал: все думы сжимались в центр, образовали из центра бурав; он просверливал почву мысли... до встречи с *Источником*: в месте встречи слагался мне образ безобразности, уподобляемой темнолазурной, ко мне прилетающей сфере; переливалась живейшими светями (сферу я видел уже зарисованной и в альбоме у Нэлли); вжившись мыслями в сферу, я в ней утопал; разрасталась она до вселенских пустот; в миг явления пустот вокруг меня ощущал я обычно: внутри себя кожу; и был я без кожи, разлитый во всем; место кожи сжималось во мне далеко во мне брезжущим пунктом; многоочито глядел я в себя, видя пункт посредине; и я — сознавал: он есть тело мое; очи, которыми созерцал тельный пункт, есть теперь Зодиак.

Появление Зодиака и пункта, зодиакальные схемы в альбоме у Нэлли меня убеждали, что наша работа над мыслью вела нас единым путем; и посвящала нас в образы, одинаково возникающие перед нами; об образах этих не говорили словами мы.

Если б вжиться мне в звезды синеющей сферы, признал бы их я существами мерцающих пятилучий, падающих с периферии на центр, вырастающий в недвижную массу; лазурясь, она напоминала как бы купол храма... с отверстием (знал я, что это моя голова с приоткрывшимся теменем, через которое я вылетал и в которое обратно влетал); бросившись в бездну отверстия, я попадал: в те же вихри, гнавшие в черноту моих тельных пространств; перелетал я из органа в орган; и попадал в место сердца. [И] опять возникала терраса, с торчащей верхушкой сосны; и ее окружал ореол (переводя глаз на горы, я глазом снимал ореол и рассматривал его отдельно от дерева); поворачивал голову к Нэлли (утреннее размышление кончалось); я видел:

---

° Число вписано.

сидела она в мягком кресле, вытянутая, как струна, в своем беленьком платьице, с неподвижными темнолазуревыми глазами, разрывающими ей лицо в эти миги и мечущими фосфорический блеск; я отчетливо знал, *где она, в чем она.*

17<sup>p</sup>

Знал: лазурная сфера – вода живой мысли; летаем мы с Нэлли в той сфере знакомыми существами души; огромные темные массы, к которым летим мы обратно, – тела; разделяют тела; они храмы; мы в храмах работаем, проникая к себе через отверстие купола; я бывал в Храме Нэлли; она, проникая в меня и меня пронизывая, работала неощутимо, упорно во мне, выбивая из архитравных массивов свои скульптурные формы (иль мысли, меня подкреплявшие); так работали мы друг для друга, друг в друге, в часы наших утренних размышлений; так же точно работали после над дивной огромной постройкой в Швейцарии; в этой последней работе я узнавал и другую; в архитектурной градации ритмов и форм узнавал и иные знакомые ритмы; мы их прочитали в себе – (я и Нэлли) – в Норвегии.]

Помню: нас звали обедать. Опять мы садились; фру Нильсен шутила; и старый учитель опять резал мягкий коричневый сыр; а инспектор в отставке, указывая на свинину, нас спрашивал:

– «Как называется это животное?»

Я улыбался:

– «Свинья».

И начинали скандировать мы на всех языках:

– «Сус...»

– «Швайн...»

– «Сочон...»

Вечером удивлялись норвежским закатам, отряхивающим окрестности; невероятная чистота пронизала фиорд, становившийся не водой, а дыханием бирюзового воздуха – с двумя яснолапыми облаками: дрожащим и не дрожащим, повиснувшим сверху; за чаем вели разговоры; и – отходили ко сну в размышлениях, подобных описанному; размышления переходили нам в сон; наши сны пересекали друг друга; душа Нэлли водила по снам; и – встречал нас... Учитель.

Пять недель протекли мимолетно. Невероятную работу тогда совершили мы с Нэлли; итоги работы нам высекли ослепительный миг

---

<sup>p</sup> Число вписано.

христианийского цикла; душевные силы, поимые размышлением, открыли: и прогремел, нам ответствуя, Берген.

Я все это вспоминал, бродя по утесам любимого Льяна – в те сутки, когда, возвращаясь в Россию без Нэлли, перебирал я события прошлого; сидел на скамейке пред виллой фру Нильсен; но к ней не зашел.

Был норвежский закат в матово-бирюзовых пространствах; и красавица севера показалась из туч:

– «Здра<в>ствуй!..»

– «Жду я тебя».

– «Там на дне...»

– «В вечном сне...»

Я вскочил и пошел к поездке, чтоб вернуться засветло в Христианию, где еще мне надо было справляться о поезде в Хапаранду. Я встретил учителя старичка (соединенного воспоминанием с сыром):

– «Вы?»

– «Я...»

– «Опять поселитесь у нас?..»

– «Нет, проездом...»

– «Жена?..»

– «Я оставил ее...»

И мы попрощались.

18<sup>а</sup>

[Чувствую недоуменье читателя; и – подозрительный взгляд, на себя устремленный; главное: не могу ничего возразить:

– «Что же это такое вы нам предлагаете?.. Это – ни повесть, ни даже дневник, а какие-то друг с другом не связанные кусочки воспоминаний: и – перепрыги».

Все – так...]

<VI>

<Фрагмент относящийся к гл. 19–23><sup>г</sup>

[< > свободу. Я мог < > <те>перь в своей собствен<ной> < > жизни.

< > искали «младенца»: путь < > человеческий; и < > <при>ближалась; и мы < > встречали в путях < > странствий и Мага, сказавшего нам:

---

<sup>а</sup> Было: 16

<sup>г</sup> Верхний левый край листа с текстом оторван.

– «Приближается царствие Божие».

И по мере того, как звезда приближалась к нам с Нэлли, я чувствовал, что таинственная моя точка души превращалась из точки в звезду; наконец наступило событие, о котором скажу я – событие странное: взрыв звездной точки до Солнца, возникшего мне – из меня самого: посередине Огромного Солнца во мне я увидел и чаемый лик Человека; тот лик Человека был «Я», мне сказавший:

– «Не Я, а Христос...»

Восхождение новой звезды и мечты о «младенце», нас вырвавшие из «почтенной» действительности, оказались для меня и для Нэлли перерождением нашей внутренней жизни.

События перерождения этого, если их измеривать по кускам разлетевшейся перед нами]

## <VII>

### <Окончание гл. 24>

Так ответили б взрослые мне; и я знал это прочно; я им никогда не сказал, о событии жизни моей, мне открытом, как память; и научился в годах называть его сном.

Лишь позднее, теперь, я стою перед ним по-иному; я знаю, что все объяснения жизни, которыми жил я так долго, есть мертвая кожа действительных объяснений; и сбрасывая с себя мертвую кожу понятий, привычек, затверженных слов и затверженных взглядов, я с ними снимаю и <...> моей жизни в них:<sup>3</sup> <

<

>

мы после их сбрасываем; но иные привычки труднее нам сбросить; привычка оценивать мир, выводя все события мира из ложных причин, называемых ложно научными, – дурная привычка; и она-то внушает нам мысль: в переживаньях младенческих лет видеть смутные переживания идиота; вместо того, чтоб помочь нам расчистить дорогу к воспоминаниям о подлинном начале сознания нашего в доррожденной действительности, мы начало<м> действительности называем в себе продолжение ее.

Все, что строим мы на продолжении этом, есть кожа, футляр, оболочка.

Знаю это по опыту.

---

<sup>3</sup> Половина листа с текстом оторвана.

Если бы к первоначальному пункту сознания провел бы я линию, видел бы я: действия моей биографии мне слагаются из этого пункта; в них мутнеют во мне и ореолы действительности, которыми жил я, как сказками детства; обыденные события жизни сперва мне мелькают в сверканиях сказки; и сказка мне шепчет:

– «О, вспомни...»

– «Я – старая...»

Мутные пятна на свете младенческой жизни в годах разрастаются; медленно твердевая, сливаются в серый туман, на котором я вижу обою меня обстающего дня; подхожу к ним и щупаю; стены – под ними; себя ощущаю в стенах, перегородках и рамках:

– «Делай то-то и то-то... Не делай того-то...»

– «Гуляй по Пречистенскому бульвару и не летай: сказки вредны тебе...»

– «Феи – нет: бабочка вылетает из куколки; она – гусеница.»

– «Земля же есть – шар, по которому ходим мы...»

– «И небо – пространство без воздуха...»

Так наученный ложью, я лживо гляжу вокруг себя; привыкаю себя я считать не пришельцем из милой страны, где живет королева моя, разлученная миром пространства со мной (нерожденная Нэлли моя), – привыкаю считать я себя подчиненным рабом; каждого, говорящего мне «*Я – большой*» (т.е. того; кто имеет дурные привычки *не видеть* действительности), – я уважаю; насильно вбивает в меня свои знания он; события «*биографической жизни моей*» – становятся мне моей жизнью.

Текут мои годы.

Внутри же себя ощущаю я редко толчки: пробуждения, припоминания о забытом, о старом; и – замечаю: толчки моей жизни (от них осыпается все, чему учат меня, как осыпается карточный домик, когда толкнут столик) – толчки моей жизни приходят неспроста, а образуют иную зависимость: так же точно нам цель образует и средства свои; она – в будущем; в настоящем – даны ее средства.

Впоследствии, научившись уже различать целесообразности от закона причины и действия, вижу: внутри моей личности, определяемой прошлым, складывается вопреки всем причинам, не допускающим сложение, мной описываемое, другая действительность, где событие, объясняющее события биографической жизни, всегда наступает потом; событие биографической жизни проносится *воспо-*



минаньем о факте, которого нет: *факт потом... наступает*, во мне объясняя все то, что таилось вне суммы готовых предложенных мне объяснений; между объяснением факта и смутным действием факта мне в душу стоит перерыв: дней и лет, заполняемых лишь обычной, причин<ной дей>ствительностью; < ><sup>1</sup> <при>выкаю я к ней; < > объяснения < > бывшим, < >

<

>

катастрофы: в редкие минуты переживаний таких смутно чувствую я, будто стены, в которых живу, уж разрушены необъяснимейшим, внутренним взрывом; и – будто: в пробитые бреши усталились мраки; сознание хочет угаснуть; но если кану во мрак, то окажусь я летящим <в> космических сферах; вглядываясь в ощущение полета, в себе я подсматриваю: воспоминание о со мной уже бывшем полете; и этот первый полет, – я его узнаю; он – событие первых мигов сознания: «сон» о полете «ни в чем».

Я замечал в этих мигах, что ощущение *полета* по существу ощущение полета в *обратном порядке*; и если первый полет в воспоминании мне рисуется «выпадением» из родимой страны, то этот последний – полет возвращающий; < ><sup>16</sup> рисоваться сознанию < > < «все» рх пятами»<sup>16</sup>, < >

<Далее лист автографа утрачен>

## <VIII>

### <Окончание гл. 25>

< > которыми выхвачен; и – голосом Родины.

По себе знаю я, что в душе человеческой этот миг, разрывающий все, может явно сказаться, то той, то другою чертою своею: то страхом утери сознания с его бранным имуществом, то восторгом полета, преждевременно освобожденным из лжи этой жизни; первое переживают ученые; и от этого ужас их перед правдою Духа, стучащего в душу; второе переживают все мистики.

Те и эти переживают неполно значение странного «мига».

Связи «мигов» слагают рост жизни души; протекает в сознании он у одних; и у других – он течет в бессознании: разрывая пороги души, предстает катастрофою представлений о жизни впоследствии он; и предстает он болезнью, сумасшествием, перерождением, смертью.

<sup>1</sup> Нижний край листа с текстом оторван.

<sup>16</sup> Нижний край листа с текстом оторван.

История связи мигов, подобных описанному, – ведь и есть «биография»; но ее вы не встретите в материале обычных биографических фактов, которые материал для истории «насморка», или простуды, таки подточившей почтенную кожу почтенного деятеля определенной эпохи. Канва моей жизни – поверьте уж мне – не в изменении моей кожи; мог бы пространно рассказывать: за пятнадцать лет моей жизни и кожа увяла моя, и прояснилась на затылке почтенная лысина.

Не история жизни моей, что родился я на Арбате, где прожил тридцать лет, пять лет странствовал, поселился опять на Арбате, а ныне живу на Садовой<sup>17</sup>; не история вовсе и то, в кого был я влюблен, с кем поссорился и кого называю своими друзьями; не история жизни моей – на меня повлиявшие книги; влияние книг – только зеркало, на которое смотрит поверхность себя отражающей жизни; так вот я полюбил Мэтерлинка еще гимназистом совсем не за то, что он был писателем, а за то, что он меня повернул на иные черты переживаний детских дней, когда я так боялся теней, коридоров и комнат арбатской квартиры.

Период «боязней» во мне доктора объяснили повышенной нервностью на почве чтения сказок; ужасная ложь! Сами сказки во мне вызывали воспоминанье о сне, бывшем вскоре со мной после первого мига сознания и отделенного от него воспоминанием детской комнаты: мне казалось – я ползу коридором

*<Далее лист автографа утрачен>*

<IX>

*<Окончание гл. 26>*

Ощущение *воспоминания* о стране, где я жил до рожденья, меня тоже встретило (и оно, может быть, есть канва и подпочва первейшего мига сознания: падая через мраки и ужасаясь падением, переживал я контраст между этим небытием и бытием своим в «прошлом»); *воспоминаньем* о родине, скрытой под ужасом перемещенья сознания между этой, мне данною жизнью, и *тою*, – *воспоминаньем* таким прозвучали однажды мне, отроку, невзначай прочитанные отрывки из «Упанишад»<sup>18</sup>.

С этого случайного чтения начинается канва моей жизни; и из нее на грядущие годы разворачиваются вереницы событий, где каждое – объяснение предыдущему, где последнее объяснение меня ждет впереди.

Все события моей жизни-собственно здесь начинаются: и толчок, предваряющий взрыв, разорвавший меня, коренится мне здесь: вместе с тем здесь впервые себя застаю я повернутым на событие «первого мига»; до него в моем прошлом лежит: мертвая пустыня понятий и взглядов, в которой себя ощущаю вполне солидарным со взрослыми я: я – отменнейший ученик; авторитеты гимназии и устои домашнего быта вполне меня строят; правда, где-то вдали, в годах раннего детства, я слышу невнятицу; но не люблю я невнятицы; мной она изжита; если бы мне приблизить ее, ощутил бы себя идиотом. Мечтаю в те годы о собирании полезнейших данных: о собирании коллекции бабочек; все мои устремления коренятся в одном: быть профессором зоологии мне (мой отец ведь профессор)...

Вдруг!...

27

Опишу это «вдруг».

Помню серый весенний денек: тучи, синие, перелетают от крыши соседнего дома на крышу соседнего дома; и где-то на крыше – ворона; себя застаю в кабинете отца; дома – нет никого; мне – пятнадцать лет от роду; и обычные книги, которыми угощают меня, мне скучны: я себя готовлю к «научной» действительности; и потому я украдкой роюсь в обширнейшей библиотеке отцовского кабинета, когда нет никого; я уже прочитал и Самуэльса Смайльса «О бережливости»<sup>19</sup>; я – заглядывал в «Логикку» Милля; и в Бокля<sup>20</sup>; всякая книга, которую от Готье или Ланга<sup>21</sup> приносит отец, интригует меня; и поэтому я украдкой листаю уже и «Вопросы философии и психологии»<sup>22</sup>. Что я там понимаю, Бог весть; но мне кажется все-таки, что я кое-что понимаю.

Открываю отрывки из «Упанишад»; и – погружаюсь в чтение; строки кажутся мне ужасною абракадаброй; кое-что понимаю я в Бокле и Смайльсе; а тут – ничего: отрываюсь; гляжу за окно: вот на крыше ворона; ворона ли? Тучи синие перелетают от крыши соседнего дома; и – уплывают за крышу; и «это все» есть не то, а «другое» какое-то – вот «какое», понять не могу; и продолжаю я чтение непонятнейших строк.

И по мере чтения строк высекается мне: *это было когда-то; вот такое же все совершилось однажды со мной; и в нем было мне воспоминание о ранее бывшем*; сознательный первый мой миг – сон о сферах, где несся я, – повторяется ныне; я – в ужасе: уж обставшая жизнь – разлетелась: *ворона* на крыше странна: не ворона она, а какое-то

«что-то», осевшее на обоях давно; вспоминаю я то, что еще до «обой» были мраки: летел в них откуда-то я.

«Страны», откуда летел я, – которые изживались мне сказками (сказки я не читаю теперь: и люблю Майн-Рида)<sup>23</sup>:

<Последующий текст утрачен: 9 листов автографа>

<X>

<Окончание гл. 27>

< > булыжников, мне порассыплют меж трещинами кое-как убитых камней; и кто-то злой, вооружившись трамбовкой, будет мне сознание утрамбовывать, чтобы сознание стало тяжелою мостовой, по которой поедут «колеса» (какие колеса?).

Речи взрослых мне представляются громом колес по булыжникам. Когда буду я взрослым, я буду греметь по камням; из моего раскрытого рта во все стороны хлынут сентенции из непрерывно дробимых сознанием пятнадцати «сит», перемешанных с «ит»<sup>24</sup>.

Я ложусь сиротливо под злые удары трамбовки, громящей мне мозг: те удары – образование во мне общепринятых мнений о мире и жизни.

Мне унылой пустыней стоит гимназический мир; классы, классы и классы: уроки, уроки, уроки: громыханье слов, громыханье словесных часов.

Вся действительность – мостовая от Денежного переулка; и – до Пречистенки; на углу переулка живу я; гимназия – на Пречистенке<sup>25</sup>. Путешествие от Пречистенки к Денежному переулку; обратно: к Пречистенке с Денежного представляются мне путешествием по бесплодным камням обремененного тяжестью мученика; тяжесть книг отдала плечо; тяжесть сведений, вбитых кой-как в бедный мозг, отдала мне мозг.

28

Учителя, за исключением одного, все – мучители; из мучителей этих – один выделяется мне; он и есть самый главный мучитель: прочие, вырезая из мозга живые кусочки сознания, в вырезанные отверстия мне вбивают булыжники знаний; самый главный мучитель – учитель латыни<sup>26</sup> – есть тот, кто, вооружившись трамбовкой, трамбует мне голову; и удар за ударом гремит о мой череп.

Латынь – самый важный предмет; и она отнимает все время; не могу воедино собрать свои знания я главным образом потому, что латынь отнимает все силы; но едва уловлю я различия пятнадцати

«сит», как учитель латыни собьет меня снова; и – все рассыпается; он – не русский; он – чех; и заставляет он нас выражаться на странном, нелепом наречии; это наречие называет он литературною русскою речью; когда объясняет уроки, то говорит он на этом, нам всем непонятном наречии; заставляет нас говорить непонятно; и мыслить – невнятно; едва я пойму что-нибудь, – он все разгромит.

Уроком латыни кончается гимназический день; я уже до него весь разгромлен бессмысленной пляскою четырех предыдущих уроков; но еще смутно держу нить событий, со мной совершившихся за день; на уроке латыни, под действием злобной *трамбовки*, нить мысли разорвана; я уже не способен понять ничего; а учитель латыни, нарочно устроив сумбур < >

*<Последующий лист автографа утрачен>*

< > и случившийся *миг* кажется тысячелетием времени в зонных пространствах<sup>27</sup>, где стараюсь я что-то вспомнить; и не могу: а ужасный мучитель, не ставя, как все, единицы, а тройку, главным образом наслаждается моей моральною мукою; он, указуя коричневым, крючковатым перстом на меня, оповещает гремящему от хохоту классу какую-то ерунду обо мне, после которой я не смогу поднять глаз на товарищей, называющих меня идиотом, девчонкою, Лизой, тогда как я мальчик; тщетно силюсь я вспомнить, какой «сит» здесь действует (в этом месте у Цицерона), – не помню я; между тем – вспомнить важно; если бы я припомнил, то – я сумел бы пред всеми отбросить позорное подозрение, на меня наброшенное мерзкой (какой-то циничной) гримасой. В чем подозрение это, – в те годы не понимал вовсе я; я его понял после; и весь содрогался от ужаса и напраслины, на меня возводимой циничной усмешкою *латиниста*; признать <ся> <...> студентом его, я хо<тел?> <...><sup>v</sup>

<

>

< >ванье которого не подозревал в эти годы я; чувствовалась напраслина, чувствовался лишь позор облечения в какую-то мерзость (в ней же был неповинен я вовсе); чувствовалась невозможность мне оправдаться пред классом, который дразнил меня после.

Так на пятом или шестом уроке, кончавшим занятия класса, совершалось почти ежедневное оплеванье меня. И – довершался разгром моей сознательной жизни. Предстоял путь домой чрез сиротливый снежок; предстояло вечернее приготовление уроков; и – сон: сон пустой и тяжелый, прерываемый все какими-то стародавними бреда-

<sup>v</sup> Нижний край листа с текстом оторван.

ми, где старинный мучитель мой, гнавшийся прежде рождения моего по космическим коридорам за мною, ко мне обращался сквозь сон в своем подлинном облике.

Мои сны того времени странны; учитель латыни встает мне из них; помню сон, поразивший меня: я был, кажется, в пятом классе.

Я вижу во сне: –

– уже вечер; по Денежному переулку бреду я; горят фонари; подворотни скрипят; и метельные рукава надуваются; впереди заметелилось все: ничего не видать; переулок пустой; ни – души. Вдруг спереди, в расстоянии шести саженей от меня, из метельной пурги выступают фигурочки; идут они скрючившись; идут – в ряд; три из них зашагали по тротуару; две идут параллельно по мостовой, отделенные от трех первых тяжелыми тумбами (в те далекие годы еще стояли везде неуклюжие тумбы); и все пять фигурок одеты в знакомое зимнее пальтецо, отороченное вытертым мехом; на всех та же шапка: барашковая, колпаком; идут нога в ногу, слегка припадая на правую ногу. Я знаю, что *эти все пять* – распятерившийся Казимир Кузмич (наш учитель латыни); я схожу с тротуара, чтобы дать место фигурочкам; вот они приближаются; вижу: что эта вот – Казимир Кузмич; и идущая рядом, опять-таки: Казимир Кузмич; третья, рядом идущая: Казимир Кузмич тоже; две, идущие по мостовой, как и первые три, – Кузмичи:

– «Казимир Кузмич, – думаю я, – распятерился до крайности...»

– «Как мне выразить отношение к его поступку с собой?»

– «Если сказать мне теперь “*А ну здра<в>стуйте, Казимиры Кузмичи*”, то я выражу ясно, что позорная тайна учителя мной замечена явственно».

– «Если же мне сказать “*Здра<в>стуйте, Казимир Кузмич*”, то одна из пяти проходящих фигурок поклонится мне, а другие четыре подумают, что я их обижаю; какая-нибудь и есть Казимир Кузмич собственно, которого я не уважил».

И я говорю проходящим фигуркам:

– «Здра<в>стуйте вы, Казимир Кузмичи...»

И в ответ раздалось мне, (представьте?) гнусаво, приниженно:

– «Здра<в>стуйте...»

– «Здра<в>стуйте...»

– «Здра<в>стуйте...»

– «Здра<в>стуйте...»

– «Здра<в>ствуйте...»

Обернувшись, я видел, как кучка распятерившегося Кузмича, мне сутуляся спинами, уходила в пургу воющего Денежного переулка; я помню, что был вне себя от восторга: да, тайна, позорная тайна, подсмотрена мною; и если Казимир Кузмич примется меня мучить, я теперь могу уличить его при всем классе, воскликнув:

– «Не верьте ему: он – пятерится по переулкам...»

Что такое есть «пятерится», мне не было ясно; но было мне ясно, что это есть нечто вроде «таскается по переулкам». По переулкам «таскаться» позорно: я знал, что «таскался» по переулкам за горничными шестиклассник Угряев прошедшей зимою.

Его – исключили.

Этот сон, как и прочие сны, оставляли свой явственный след и в действительности; помню я, как, бывало, боясь, что вот Казимир Кузмич примется надо мной издеваться, начинаю я думать о сне; и во мне бессознательно возникают решимости: Казимир Кузмича оборвать; источник решимости вовсе не внятен: если бы подсмотрел я его, я бы, может быть, изумился до крайности, видя, что мое бессознание уличает мучителя в том, что он в снах «пятерится»; страннее всего; начинал замечать я, что вспышки моих дерзновений бороться с насмешками решительным образом при помощи уличенья насмешника в каком-то позорном и очень стыдном поступке передаются насмешнику; вместо того, чтоб меня наказать, или выгнать из класса, он, Казимир Кузмич, всего только: робеет, опуская глаза; и – оставляет в покое меня, будто он правда все то, что я видел во сне: будто сон – разоблачение всего его непонятого поведения; во мне не было никаких улик, кроме снов; один сон был ужасен: я видел, что Казимир Кузмич потянулся ко мне с желанием... целовать меня; в этом жесте его было что-то ужасное, гнусное, подлое; после этого сна начинаю без всякого повода: в классе устраивать неприятности; поведение мое изменилось: и стало вдруг бурным; к изумленью меня, да и всех одноклассников, Казимир Кузмич выказал по отношению ко мне – явственно ощутимый испуг. Непонятные отношения возникли меж нами.

Скоро класс наш заметил, что странные поединки мои с Казимир-Кузмичом ни на что не похожи; и класс с изумленьем следил, как во мне вырастала безумная дерзость по отношению к «латинисту»; что другим не могло сойти с рук, то прощалось мне.

Казимир Кузмич прекратил все нападки; укушенный чем-то, придумывал тысячи способов – невероятнейших способов! – досаждать ему я; так вместо того, чтоб уткнуться мне в книгу, глазами вперялся в пространство я над его головой; если бы я смотрел на него, то его поведение было б вполне мне понятно; но смотрел я – в пустое пространство: над его головой; этого он не выдерживал: маленькая голова начинала качаться; глаза – беспокойно моргать; он с боязнию вскакивал с кресла; и под предлогом, что кто-то балуется, перебежал: от парты и к парте; перебежал от парты и к парте мой взгляд, обращенный в пустое пространство над его головою.

Тут, весь согнувшись, он вскидывался, подбегая ко мне, мне грозя крючковатыми пальцами:

– «Слышь ты, негодная голова!»

– «Я – тебя...»

Но я схватывал за руку моего соседа по парте, протягивал руку стремительно; и указывал двумя пальцами над его головой – в совершенно пустое пространство.

– «Смотри, посмотри!»

– «Ай-ай-ай!»

После этой бессмысленной дерзости, до которой еще не доходил никто в классе, по справедливости Казимир Кузмич должен был выгнать бы вон; но он, будто испуганный чем-то, грозясь и шамкая мне, отступал от меня, обмакнувши в чернила перо и им шаря по балльнику (делая вид, что он хочет меня записать); но и на это движение отвечал я стремительным жестом: откинувшись корпусом, высоко вздернув брови, изображал на лице неподдельное изумление я.

– «Что такое?»

– «А?»

– «А?»

– «Ну, попробуйте только».

И Казимир Кузмич, продолжая грозиться и шамкать для вида, бросал перо на стол; и – единицы не ставил; сражение я выигрывал всякий раз к удовольствию целого класса, сражение за сражением происходили меж нами за каждым уроком; но эти сражения состояли из жестов без слов и каких-то таинственных друг на друга бросаемых знаков.

В себе открывал я талант озадачивать Казимир-Кузмича необъяснимостью своего поведения; на словесную ерунду, мне громящую мозг, отвечал не попыткой я в ерунде разобраться, а – сугубою ерун-



дою, которую не понимал ни я, ни весь класс; вдохновенье стремительно овладевало мной: вдохновение к диким поступкам; и предомной отступал боязливо старинный мучитель, меня распинавший недавно, и мою непонятную власть осознавал целый класс; он мною гордился; он выбрал меня предводителем брани, объявленной латинисту; не было и помину о гнусных намеках на состояние моей головы; Казимир Кузмич чувствовал, что весь класс, непонятно сплотясь вокруг меня, наступает стремительно несокрушимой фалангой; авторитет Казимир-Кузмича, как *грозы*, быстро падал; уроки латыни, во время которых недавно еще мы дрожали, под партой крестя животы, превратились в уроки веселья и смеха.

Казимир Кузмич, знали мы, был когда-то выгнан из класса; распространилась уверенность в нас, что боится он доводить отношения с нами до крупного скандального происшествия; с непонятной мягкостью он стал порой обращаться ко мне. Он, бывало, отпустит (заметили мы), бурча в нос и прикинувшись, что грозит, под видом угрозы по существу комплимент мне:

– «Ну вы там: опять вы дурите...»

– «Напрасно вы корчите из себя сумасшедшего...»

– «Вы не такой, каким кажетесь: бросьте глупости эти... Не проведете вы ими...»

В сущности, это были признания мне, что я хитр <и> умен, – признания, обращенные к моему самолюбию; он хотел мне польстить; лстивым подкупом он просил со мной мира; он думал, что я предводитель войны.

Но на торг отвечал я по-своему; я приносил с собой книги (Бьернсона и Ибсена)<sup>28</sup>; положив перед носом его постороннюю книгу, уткнулся я в книгу; сперва он не понял маневра и, протянув свою лапу (цыплячью какую-то), книгу стащил у меня:

– «Хе!»

– «Это что...»

Тут я поднял такое восстание в классе, что он – вернул книгу. Для виду припрятал ее; и на другой день опять разложил перед носом; маневр был им понят.

И вот с той поры безнаказанно проводил я уроки латыни за чтением классиков, современных писателей: беллетристов, поэтов; между нами теперь заключен был отчетливый договор: я его не тревожил сумятицей выходов; он меня <не> тревожил сумятицей жестов, ко мне обращенных.

Урокам латыни обязан я многому; Шиллера на уроках латыни прочел от доски до доски.

Борьба эта дорого стоила мне; много потратил я нервов; и признаюсь: после странной победы, одержанной мною, почувствовал я себя в положении укротителя зверя; я знал, что спокойствие мое – только поза спокойствия; что мне стоит лишь сделать неверно построенный жест, и – Казимир Кузмич встанет вновь предо мною смутительным ужасом; градом двоек покроется балльник; коричневый палец опять застучит по моему разгромленному лбу; [и на] меня взведут подозрения в невероятно позорных поступках, будто бы мною свершенных – где? Может быть, в моих снах, где опять и опять Казимир Кузмич тянется со своею ужасной улыбкою; и – предлагает какие-то воровские, позорные сделки, о которых не знает никто; и – которые я разгадал.

Помню сон того времени: –

– вижу я, будто я поднимаюсь по лестнице, ведущей в ту пыльную комнату, где расставлены инструменты, приборы для опытов, густо покрытые пылью; я спешу, спотыкаюсь; я знаю: там, в комнате, я впервые узнаю священную тайну, которая подстилает учебное Заведение наше (или мир представлений, что – то же); что эта тайна – есть, в этом давно убежден я; Казимир Кузмич в ней играет огромную роль; я узнаю теперь, почему по ночам пятерится он; и почему, выявляя свой сущностный лик, отвратительной, гадкой улыбкой, ко мне обращенной во сне, на поверхности жизни, расставленной классами Средне-Учебного Заведения, появляется он среди нас, как учитель латыни, виляя, как хвостиком, фалдами фрака.

Я вбегаю; и – вижу: высокорослый сидит за столом надзиратель наш, Ростислав Вячеславич, склонив свою белую лопатообразную бороду к Александру Иванычу, математику, старичку низкорослому с маленькой седенькой бороденкой и желтыми, будто проплеванными усами; у обоих – я вижу – малиново-красные шеи, похожие на рачьи хвосты.

Только что я вошел, как старики, оборвав разговор, уже скрыли свою стариковскую тайну; и – Ростислав Вячеславич докладывает:

– «Ээ... ээ... Были дни маленьких Орлецов: и – малых Орловых...»

– «Ээ... ээ...»

– «Настают теперь дни... Ээ... ээ... ээ... и больших Орлецов: очень крупных Орловых».

Я, смущенный невнятицей слов, силюсь что-то припомнить, что прежде я знал, но забыл. А Ростислав Вячеславич, ко мне повернувшись, кладет мне ладонь на плечо; и – наставительно шепчет:

– «Ээ... ээ... Понял, брат? Были дни очень маленьких Орлецов; и – ничтожных Орловых...»

– «Ээ... ээ...»

– «Теперь дни бурлецов и – огромных Орловых...»

А Александр Иванович, математик, захлопав глазами от ужаса, провозглашает куда-то:

– «Пришло стариковство».

Действие сна переносится в класс. Мы все знаем уже: непоправимое – совершается; директора собираются свергнуть; после действия этого ряда классов рассыплются, как картонные домики; и сквозь все, как сквозь окна, проступит ужасная тайна, доселе укрытая под подвалами Заведения; прояснится сразу: Учебного Заведения нет; никогда не бывало; не будет; и – стало быть: нет ни Денежного переул-ка (через него возвращаюсь домой); нет – и дома, где я в свет родился; и стало быть: месторождения нет; и – рождения не было (я и жил, и живу в дорожденном, в старинном).

На дне *стариковства!*

И это все выступает в нас смутно; о *нем* и сказать-то нельзя; понимаем мы все: на уроке латыни откроются *кавардаки*; несостоятельность Учебного Заведения без директора брызнет бредом на нас; и я жду этих бредов; смотрю за окошко: в коричневатой, в туманной, в ноябрьской промозглости крутится снег.

Ростислав Вячеславич, уже покидая нас всех, за собой затворяет дверь класса; класс, как один человек, дышит грудями.

Дверь распахнулась.

Туловище Казимир-Кузмича, потеряв свою голову, принесло на плечах – клювовидную голову; из манишек торчат и сжимают увесистый балльник цыплячьи вареные лапы; пупырятся лапы вареною кожей.

– «Как *оно* будет спрашивать нас: у *него* голова человека потеряна?»

Вот *оно* пропищало: вскричало, заклёкало клёкотом. Думаю:

– «Это и есть литературная русская речь, на ней нам велено говорить с Казимир-Кузмичом на уроках латыни...»

Литературная русская речь просто есть «клё-клё-клё». Не понимаем ни слова; иноголовое существо Казимир-Кузмича нам заклёкало снова:

– «Клё-клё».

– «Не понимаем ни слова!..»

Заклёкало снова: просительно клёкало.

– «Что такое?»

Молчим...

Литературная русская речь непонятна.

И – думаю:

– «Что-то будет теперь? Кавардак обнаружится: и *Учебное Заведение* в кавардаке развалится».

Мой сосед шепчет мне:

– «Смотрите-ка: *оно* ставит в балльник сплошные *багровые ужасы*».

Вижу: окна – багровы. Багрового ужаса в балльнике нет. Но вбегает толпа восьмиклассников; и объясняет всем нам, что уже из подвального этажа разливается, хлещет багрец; скоро хлынет на нас.

Мы бросаемся – вон: бежим в зал рекреаций<sup>29</sup>; и обступив Ростислав-Вячеславича, просим его объяснить, что такое случилось. Но Ростислав Вячеславич, скрывая от нас суть всего, лишь трясет бородой; и, положив свою руку ко мне на плечо, кисло крикает нам всего-навсего:

– «Понял, брат?»

– «Были дни, сплыли дни: Орлецов и Орловых...»

– «И – ээ, ээ – теперь дни багрецов: пребольших Орлов...»

Тут сон оборвался.... –

– Я этот сон долго помнил. И этот сон выражал очень явственно двойственность положения моего к Казимир-Кузмичу; я грубил ему: Казимир Кузмич покорялся, заискивал; но это только казалось; то было в обманной действительности, названной во сне Ростислав-Вячеславичем «днями ничтожных Орловых»; и – смутно чувствовал я: есть иная действительность «багреца и боль-

шого Орлова»; и туда Казимир Кузмич перенес свои ужасы; там издевается он надо мной – в багреце: и багрецами пылает из снов на меня его диавольский лик; Казимир Кузмич властвует – там; он оттуда ведет свой подкоп; однажды взлетит моя комната; стены развалятся; бреши и дыры проступят отчетливо; в дырах же будут нам всем Казимир Кузмичи, в собственном, страшном до-человеческом образе выступают в мир они; в сущности, – их я в его брэнном облике; и чем более он уступал, тем ужасней он выглядел в снах; не его я боялся: боялся Того, Кто глядит сквозь него, Кто стоит предо мной в казимиркузмичевой личине. И знал я: предстанет однажды Он мне; после – жизнь опрокинется; все обернется вверх дном; все навек погрузится в неслыханный, жизнь подстилающий ужас; и подступы ужаса слышал; напоминаем глхим был мне образ учителя; он это чуял; невнятица отношений, меж нами встававшая, угнетала его и меня. Между нами года шла борьба.

Казимир Кузмич, как знал в старшем классе, был честный работник; с девяти и до трех научал он мальчишек; и нагруженный тетрадками шел он домой, после трех; до десяти часов вечера правил тетрадки; в одиннадцать часов ночи ложился он спать.

Очень многие гимназисты совсем не боялись его; не был строг как учитель он, нервные мальчики только пугались и бредили им по ночам; иногда сердобольные матери переводили детей из Учебного Заведения в Лицей, чтобы только они не учились латыни у Казимиркузмича.

Не понимали родители, не понимали учителя, не понимал наш директор, в чем *подлинный ужас*, внушаемый им; в напоминании о до-временном хаосе, рвущимся через него в нашу жизнь и срывающим в нас все устои. Казимир Кузмич был искусник: [для] нервных детей устраивал он фантазмы мучений и пыток; я понял и принял романы Гюисманса и По<sup>30</sup>; я понял и принял в Гюисмансе и По только бледное отражение пережитой невнятицы; Казимир Кузмич<sup>w</sup> мне ее гениально устроил: и упредил *третий миг* моей жизни, который подкрался ко мне через несколько лет; был тогда я студентом; в те годы учитель латыни ушел от меня в невозвратное прошлое.

*Третий миг* потрясает опять все устои обычной действительности; и на этот раз нападает средь белого дня на московской, грохочущей улице.

*Упанишады* (второй миг) разверзлись в душе: они вызвали воспоминание [о] первых мигах сознания; *третий миг* разверзается мне

---

<sup>w</sup> В автографе: Казимир Кузмичом

извне: теперь *первые миги сознания* – ходят прохожими; и – потрясают зонтами; зонтами дырявят они мне действительность трех измерений; и узнаю среди них позабытых приятелей до-рожденной действительности; Казимир Кузмич – им предше<ствует?> < >

*<Далее утрачены 4 листа автографа>*

<XI>

*<Окончание гл. 32>*

< > проще, простосердечно я восхищался моим же словам; моими любимыми авторами главным образом стали: индивидуалисты. Сказали бы все:

– «Он поддался влиянию Ибсена, Ницше и Штирнера...»<sup>31</sup>

Одно время так думал и я, но увидел впоследствии: авторов я подбирал, точно буквы для *слова*, которое мне открывалось; и долго еще не умел ничего я сказать: подбирал выражения; выраженья – любимые книги; но – выражения неточные; мне пришлось их отделять: эта отделка тянулась годами.

Надо было: читать и читать; я проглатывал серии разнообразных трактатов, как раскаляемый паровоз перед долгим путем поедает дрова; надо было расплавить язык; и из всех выражений и сплавов отлить совершенное слово, в котором я мог бы отчасти лишь выразить истину происшествия, перевернувшего все: *возвращение первых сознательных мигов, как мигов воспоминания о до-рожденной действительности.*

33

До шестнадцати лет не умел говорить.

*<Далее утрачены 6 листов автографа>*

<XII>

*<Окончание гл. 34>*

< > дать; непосредственно выявляются жестикуляционные опыты. Да, я думаю: Казимир Кузмич был талантливым бессознательным оккультистом; я – тоже; мы – встретились; но силы, которые воздвигают в нас жесты, в нас были различны; и – завязалась борьба: Казимир Кузмич – нападал; а мое поведение – вынужденная атака из обложенной крепости; это – только один из приемов защиты; ужасные сны – моя правда; ведь сна-то и нет; сон – лишь флер, нами брошен-

ный из дневного сознания, чтоб действительность вне-сознательной жизни не разрывала покровов; преждевременное разрыванье покровов для неокрепшего в упражнениях «я», – сумасшествие; собственно, нет его вовсе.

И сумасшествия снов моих – шифр действительных встреч. Сны потом успокоились: это было тогда, когда я из негого стал вдруг говорливым чрезмерно.

Но словесный поток, разорвавший молчанье шестнадцати лет, был событием неожиданным; теперь оно ясно: в немоте моей медленно накоплялася действенность силы; чем дольше молчал, тем странней и глаже впоследствии стал говорить; моя сила писателя есть поверхность свечения сил, накопленных немотою; свет поверхности – внутренний; и впоследствии много раз замечал: перед вспышками света в себе я теряю дар слова: молчу, как писатель; тогда – зажигается свет; и потом возвращается снова – дар слова.

### 35

Как сейчас помню день я и час, когда я разразился потоком словесным, разлившимся в бурную реку на протяжении ряда годин.

Это было в гостях. Знаменитый профессор по нервным болезням, сидевший за чайным столом, говорил поучительно: о психозах – в литературе; почтительно слушали<sup>32</sup>. Я почувствовал вдруг, что во мне разорвалось что-то, как бомба; нелепо, горячо, мучительно брызнул в профессора кипяток моих слов: границ меж безумьем и здравостью – нет, быть не может; «психозы» – лишь громкое слово; смелые новаторы жизни – вот кто сумасшедшие; правда с ними одними; и если бы подлинно новое отношение к жизни возникло бы в нас и укрепилось то подлинно новое отношение к жизни в устойчивой форме, то эта форма казалась бы окружающим буржуа, почивающим в лени, бредом безумий. Что есть норма действительности? Неизменна она, иль изменна? Если первое, – идеал утверждаемой жизни: покой неподвижности; все изменения ведь даны, как частичные разновидности идеала; но идеал в разновидностях – не идеал уже вовсе; осуществление идеала такого предполагает единство; во *множестве* нет идеала: не может быть; жизнь же есть множество; поэтому: идеальная норма – предполагая единство покоя, предполагает разрушенной жизнь; по отношению к жизни она есть ничто; *Нирвана* есть норма; но именно: достижение Нирваны и устремление к смерти, буддизм, разлитой среди нас, есть симптом, по профессору, нервной болезни

эпохи. Если нормы подвижны и – изменяемы временем, то нет нормы одной: много норм; разговоры на темы о современных психозах беспочвенны; <в> ограниченном кругозоре ленивых людей существуют они, а не в жизни: и – да здравствуют психопаты!

Приблизительно так я сказал, пересыпая назойливо очень дерзкую речь витиеватыми фразами; и – ссылками на прочитанное; витиеватые фразы и ссылки запутали вовсе меня; я сидел перед старым профессором в гимназической куртке (с короткими рукавами) не зная, что делать с руками; ощущение скандала, конфуз и раскаянье ощущались явственно: самого главного все равно я не выразил; мучаясь, снова принялся я говорить, но меня оборвали; почтенные, взрослые люди, смеясь, мне заметили, что я молод и глуп, чтоб иметь свое мнение. Профессор по нервным болезням не слушал меня. Дома же принялись за меня.

– «Знаешь ли, милый мой, – говорил мне отец, – как же можно так дерзко перебивать специалиста по нервным болезням какую-то ерунду...»

А мама прибавила:

– «Это он начитался...»

Отец же прибавил:

– «Читал бы ты, мой дружок, настоящие, научные книги...»

Но укушенный чем, я стал возражать, что *наука* не так уж научна; и до слез рассмешил всех кругом своим злобным задором; говорил петушиным, обиженным голосом; как бессильные крылья, болтались ненужные руки витиеватыми жестами. Многое, чем набил себе голову я, перепутавшись, хлынуло вдруг – непрерывным потоком: Белинский, смешавшийся с Рескиным<sup>33</sup>, оказался вместе с Уайльдом и – Шопенгауэром вылетал из меня; Достоевский и Ибсен, смешавшись с статьями Вольнского («Северный Вестник» почитывал я)<sup>34</sup>, рассыпались в туманные разглагольствования из путешествий Блавадской по Индии. Это все я не мог гармонично связать; это все завихлялось беспомощно в речи.

Разводили руками: «немой», тихий мальчик, на все отвечавший тусклейшими фразами по учебникам, вывалил вдруг свой сумбур вязкой жижей украдкой прочитанных книг; все, что я говорил в это время, мне явственно видится: жарким, расплавленным месивом, где события, мысли, эпохи встречались в уродливом пестром узоре невыражаемой мысли; оригинальность узора я чувствовал: знал, что он мой, но отчетливо начертать его в то далекое время не мог; и я – путался;



мысль узора лишь впоследствии оплотневала на протяжении десяти-двенадцати лет в произведениях Ледяного – теоретика символической школы недавнего прошлого. Все, что он рассказал планомерно в статьях, содержалось в расплавленном хаотическом состоянии в отроке, бледном и нервном, вдруг ставшим пророком, фанатиком-проповедником неотчетливой мысли, ему только зримой.

С этих дней начал я говорить: без окончания начала на многие годы; охватила словесная лихорадка: жестоко трепала меня; сосуд тишины, мною скопленный, лопнул: и тишина разливалась по жилам сжигающим пламенем, воспламеняя язык; я, измученный зудом речи, в гимназии стал собирать вокруг себя оторопелых товарищей – тех, которые были начитанней прочих; вместо Писарева, Чернышевского, Бокля я им подносил: Метерлинка и Вагнера.

Не понимали меня: но – внимали. Одни говорили: он – мистик; нет, он метафизик – решили другие; преданные общественным интересам махали рукой на меня: консерватор, буддист; анархист, декадент – отвечали другие, попрыгче.

А я –

– говорил, говорил, говорил: без конца.

Даже внешность моя изменилась; себя вспоминаю стоящим пред зеркалом: прежде был я хорошеньким, тихеньким мальчиком с кругловатым спокойным лицом, бледноматовым; а теперь мне из зеркала протянулся зеленый, худой, исступленного вида юнец с длинным носом и косолапо висящими, будто плети, руками; перекошенный рот, лихорадочный взгляд и глупейшая морщина меж глаз изменили меня; я из тихого молчаливого отрока превратился в ураганно гласящего злобного спорщика, потрясающего вдохновенно перстом. Говорил, говорил, говорил: без конца.

Так и кончил гимназию, не досказавши товарищам своей огненной мысли.

Продолжая ее развивать университетским товарищам, я встречал ту же оторопь; смесь насмешки – не то снисхождения сопровождали меня. Но с течением времени отстоялся кружок чудаков, как и я, – не то анархистов, не то декадентов, не то... черносотенцев (этого слова не существовало в то время).

Что меня разрывало? Где подлинное начало перерождения всех видимых моих привычек и устремлений? В биографии внешней сто-

ит необъяснимейший факт: до апреля 1897 года был тихий, немой, глуповатый, медлительный отрок; и от него не могли получить никакого ответа на то, во что верит он. На приставанья товарищей им поведать свои убеждения и вкусы лишь раз глуповатый мальчишка ответил напыщенно:

– «Я – приверженец философии Индии».

Ответ вызвал фыркanye: ведь умнейшие в классе считали философов всех веков и народов отжившей породой мамонтов: Писарев доказал всему миру, что философия – ерунда.

Приверженца философии Индии еще никто не видал: на приставанья товарищей поделиться мне с ними моей философией, я ничего не ответил (что мог я ответить? Отрывки из *Упанишад* только пели во мне).

После апреля 1897 года вдруг тихий, немой, глуповатый, медлительный отрок – срывается с места; и, угрожающе потрясая рукой, разливает фонтаны мудрейших, туманнейших слов, никому не понятных; худеет, бледнеет, и весь – изострается; схватывает то того, то другого за руку; и начинает кружить с ним по рекреационному залу, возбуждая недоумение гимназистов, швейцара Василия, надзирателей; даже – директора.

Что лежит меж апрелем и мартом, и что – меняет меня?

Если бы кто-нибудь захотел собирать биографический материал моей жизни, то ничего не узнал бы он: так же я вставал утром, пил чай; так же шел я к Пречистенке от угла Арбата и Денежного переул-ка; так же я возвращался; и дома сидел перед столиком, делая вид, что готовлю уроки; в те же одиннадцать часов шел я спать.

Обнаружилось бы одно обстоятельство: между апрелем и мартом была страстная неделя; говел я (как говел всякий год). Была Пасха. Но Пасхи бывают всегда: были прежде, и будут.

Как есть ничего.

Между тем все во мне изменилось.

И никто не узнал бы: разгадка вот тут коренится<:> переживания предпасхальной недели прошли предо мной.

[В церковь я ходил машинально. Мне нравилось пение. Нравил-ся иконостас, золотая парча, облака фимиама. Позднее мне нравилось наблюдать жизнь прихода: у нас был злой диакон; боялись его при-

хожане; когда, выходя на амвон с «паки, паки», хромал на больную он ногу, выпячивая перекошенную большую губу, от которой висели редчайшие и очень жесткие волоса; мне казалось, что диакон наш жрец; воспоминанье о нем почему-то связалось мне с воспоминанием об идоложертвенном мясе; почему, — я не знаю.

Любил наблюдать я дьячка; низкорослый, хрипящий, с огромною шевелюрой, вертляво он бегал по церкви, тряся рыжеватую бороденкою и бряцая брелоками — в синеньких полосатеньких брючках и кургузеньком пиджачке; я любил наблюдать превращенье его в золототканую фигуру на паперти, когда он, на всю церковь глотая обильные слюни, мешавшие петь ему, заводил хрипловатые возгласы: «Иисусе Сладчайший»...

Любил я трапезника; этого трудно было видеть; изредка подымался его глас: «Изведи из темницы». Напоминал он мне флейту.

Собственно христианского чувства я не испытывал вовсе; скорее я в церковь ходил, как в театр (как-никак — развлечение).

Зрелище церкви разыгрывалось во мне: воспоминанием о каких-то забытых обрядах, по существу очень страшных; и представители духовенства казались мне — *тем, да не тем*; если бы я уплотнил переживания, которые возбуждал во мне диакон, дьячок и хор певчих, гласящий в пространство тяжелых и позолоченных стен, то получились бы очень странные

образы: —

— получился бы образ пустынной и каменистой страны с кое-где разбросанными пещерами и опустевшими деревнями, где обитает сухой, истощенный, покрытый изорванным рубищем люд, всеми брошенный и убегающий время от времени бесноваться в пещеры; озирая страну, я увидел бы среди уступов и скал каменистый престол с опрокинутой идоложертвенной чашею; если б спросить у убогого бесноватого, распростертого пред престолом, где можно увидеть жреца, и почему опрокинута чаша, то получил бы я совершенно нелепый и бессвязный рассказ: жрец бежал, бросив жителей; жители этой страны все страдают невиданной формой душевной болезни, введенной в них пассами и жертвоприношениями очень многих жрецов, здесь молившихся; эти все служители думали еще недавно, что в запрестольной молитве соединяют они души бедных людей с Богом; и ошиблись: столетие были оборваны проводы между ними и Богом; проводами завладели давно безобразные демоны; и при всякой молитве жреца за просящую душу, в ту душу сходил безобразней-

ший демон; и, поселяясь в душе, начинал ее мучить невиданной формой болезни<sup>x</sup>; окрестности переполнились бесноватыми; бесноватые эти по вечерам наполняли окрестности ревом из черных пещер. Жрецы перепортили все окрестности, и последний из них, наиболее мудрый, наконец разобрался в ужасной подмене источника божественных сил; понявши свершившийся ужас, бежал из окрестности он; с той поры в каменистой стране нет жреца. —

— Так бы я уплотнил образ блещущей церкви, тяжелую лепку иконостаса с двумя боковыми дверями, задернутыми ярко-красным атласом, когда из дверей на амвон с «*паки, паки*» выхрамывал дьякон, выпячивая перекошенную большую губу, от которой свисала щетина, когда низкорослый дьячок, превращенный искусственно в золототканое изваянье, глотая обильные слюны, мешавшие петь, заводил хрипловато: «Иисус сладчайший»; и повторял этот возглас скороговоркою многое множество раз (выходило «*Сучаше*»); так бы я уплотнил образ церкви: глухая, пустынная] < >

*<Далее утрачены 2 листа автографа>*

### <XIII>

38

Я — говел. Была страстная неделя. Этот день был среда<sup>36</sup>; я стоял, прислонившись к стене и — прислушиваясь к звуку пения (пение на страстной возбуждало во мне глубочайшие переживания). Вдруг сотряс меня образ: будто стены судеб моей жизни — раздвинулись; и открылася перспектива грядущих столетий, с которыми связан был я: я увидел — конец (я не знаю чего: моей жизни ли, жизни ль мира?); но будто дорога истории упиралась в два купола величавого здания, Храма; будто туда, к тому храму стекались толпы людей; будто выборные от всего человечества, облеченные в блеск и виссон, простирали, собравшись вокруг Храма, с молением руки туда, где, как виделось мне, обрывалось все-все: светы, звуки и краски; казалось: там берег; и — море (впоследствии понял я, что обрыв тот, обрыв моей жизни; и — бездна, оттуда глядевшая на меня, меня встретила к тридцати годам моей жизни; за этою бездною, за сломом путей, ожидал меня новый мой путь; этот путь меня странно привел к куполам Иоаннова Здания: мы его строили в Дорнахе); два огромнейших купола, золотых, просияли: и там, где была черноцветная ночь, пробивалась заря: восходило огромное, громкое, яркое Солнце: «Пришедший».

---

<sup>x</sup> Исправлено: болезнью

Концепция невероятнейшей ясности тут меня осенила; я понял: кончалась история; драма судьбы моей – драма, которую переживет скоро мир: уже близится яркое Солнце Второго Пришествия: устроится в сердце «Храм Славы». Туда, в этот Храм, уж подходит... но не Христос, а... Антихрист. «Храм Славы» увидит Христа; но сперва в этот Храм войдет Некто, кто скажет: «Молитесь во имя мое».

Этот образ потряс меня; я, как безумный, вдруг выбежал из наполненной Церкви; и шел – я не знаю куда (громыхали пролетки уже; очищали от талого снега и мокроты тротуары). Я поймал себя, что стою на обрывистом склоне, на Воронухиной горе, около Крымского моста; образы один другого ярче, один другого слепительней проносились в сознании; проносились не просто, а будто сцарапывая с моей души слой за слоем: это были образы Апокалипсиса, воплотившиеся в современность; в те минуты с невероятною ясностью, будто молния, меня осенило сознание: «*все кончено*» и – приблизились сроки огромных судеб.

Я вернулся домой и, пройдя в свою комнату, наскоро, второпях записал ряд мелькающих образов; эти образы образовали мне трилогию: это был план мистерии-драмы, которую должен я был написать; ее ж название «Пришедший»; и очень скоро я набросал первый, смутный отрывок, а впоследствии Леонид Ледяной в этом юношеском, смутном отрывке произвел ряд губительных опустошений, стараясь исправить в нем форму; он был напечатан в 1903 году в одном модернистическом альманахе<sup>37</sup>, а драма-мистерия, по мере того, как я рос, отступала в грядущее; я недавно еще полагал, что к этой драме вернусь в зрелом возрасте я; и она будет мне тем, чем «Фауст» явился для Гете.

Теперь понимаю я: не напишу моей драмы-мистерии, потому что я сам уж вступил <в> сферу драмы: я сам уж участник событий, которые, приведя к катастрофе, ускорят явление лика Антихриста, чтоб скорей, побеждая тот лик, в сокровеннейшем импульсе человеческой жизни прорезался Лик: Лик Второго Пришествия.

Много раз я впоследствии думал: «Что есть тот Храм Славы?». Теперь твердо знаю я, что «Храм Славы» не здесь (на земле он не будет построен): «Храм Славы» есть «Солнечный Храм»: вход к нему через Сердце: то «Civitas solis», пригрезившийся Кампанелле<sup>38</sup>, – Невидимый Град (или «Китеж»), ушедший сквозь воды страстей в глубину подсознания нашего; а намек на него – бирюзовые купола того здания, которое высекали мы с Нэлли тяжеловесными молотками не-

давно еще<sup>39</sup>: форма их напоминает мне в тот миг, когда с клиросов заливаясь, как колокольчик, мальчики певчие грянули: «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат»<sup>40</sup>; цвет же их есть иной; Иоанновое Здание бирюзеет в зарю куполами своими; а купола «Храма Славы» привиделись мне золотыми.

Видение перевернуло мне жизнь: мысль о близости невероятных событий, грядущих на нас, о *Пришествии*, меня сделала христианином: «Упанишады», «Буддизм» отлетели; трагизм мой оформился мне: он – борьба во мне Света Христова и тьмы моей жизни, Антихрист – прорезывается уж в сознаниях современных людей; в них он – подкрадется многообразием вещей явлений и знамений; «Казимир Кузмич» – знаменье.

До события этого был я немой и безгласный; после него – лихорадка съедает меня; весь в огне ожиданий, предчувствий и чаяний, не находя себе места, я вдруг разорвал многолетнюю немоту; и потоками смутных, глубоких, невнятных речей я старался всем выкрикнуть о надвигающемся на культуру Европы событии виденным в образе «Храма Славы».

### 39

Владимира Соловьева я видывал иногда до события, бывшего со мной в марте 1897 года<sup>41</sup>; я был близок семье покойного брата его жившей<sup>у</sup> в том же подъезде, где я, этажом ниже: помню, что, опускаясь по лестнице, я встречал сутуловатую фигуру покойного Вл. Соловьева в енотовой шубе, в огромнейшей меховой своей шапке, напоминающим батюшку; его черные кудри, белея седеющим волосом, вырывались из шапки; встречая его и раскланиваясь, от него слышал я:

– «А вы тезка Чичерину»<sup>42</sup>.

Иногда, приходя к Соловьевым<sup>43</sup>, встречал я Вл. Соловьева играющим с братом, как кажется<,> в шашки; за круглым столом, где кипел самовар; я подсаживался к гостеприимному столику и начинал излагать какую-нибудь свою мысль покойной О.М. Соловьевой; Владимир Сергеич, не слушая нас, наклонясь низко к шашкам, порою врывался в беседу каким-нибудь громким, смеющимся словом; его громкий бас, неожиданно разорвавшись шуткою, неожиданно угасал<sup>44</sup>.

До события, со мной бывшего в церкви, не обращал никакого внимания я на Владимира Соловьева: был я шопенгауэрианец, буддист и поклонник мистической философии Индии, о которой конкретного

<sup>у</sup> В автографе: живших

представления я почти не имел (в основании любви моей к Индии лежали отрывки из «Упанишад» да интересная книга Блавадской «Из пещер и дебрей Индостана»); Соловьев не обращал на меня никакого внимания; я был немой мальчик, умеющий всего более говорить за столом о директоре<sup>45</sup>, Казимир-Кузмиче и латыни; после события, со мной бывшего, не интересовался и вовсе я Соловьевым: он, думал я, что-то пишет там, перемешивая философию с теологией; чувствовал я отвращение к теологии; и философия христианского догматизма казалась мне *скучною сушиью*.

Вскоре после события, со мной бывшего, стал я читать Соловьевым свои первые наброски в стихах; как-то раз им прочел и отрывок «Пришедший», понравившийся О.М. Соловьевой: то было зимой 1898-го<sup>2</sup> года<sup>46</sup>; прошло много времени; наступил 1900-ый год.

Помню, раз папа мой, оправляя густую клочкастую бороду, раз сказал за обедом, не то шутливо, не то взволнованно обращаясь к нам:

– «Владимир Сергеевич Соловьев в Петербурге прочел невероятную лекцию: “О конце всемирной истории”<sup>47</sup>. Знаешь ли, он рисует там нашествие монголов и появление Антихриста: вот чудак. Но какая же грандиозная тема. Люблю я такие фантазии: вот бы вышел роман».

Во мне что-то екнуло, загораясь любопытством, но я себя сдерживал; и, теребя салфетку, задал я какой-то, по-моему, совершенно праздный вопрос; но над душою стояло: «Ага, началось!» Пробежали во мне снова образы драмы-мистерии; и проблистали откуда-то издали купола «Храма Славы».

Стояла весна: невероятно блеснули весной мне закаты; какая-то милая, милая, милая, сердце томившая весть проносилась; я хаживал в эту пору встречать полыхавший закат на Воронухину гору (днем я добросовестно высиживал в университете: я интересовался в то время зоологией простейших беспозвоночных); вечером за приветливым круглым столом Соловьевых произносил непрерывные речи я обо всем, что меня волновало и о чем впоследствии более членораздельно сказал Леонид Ледяной в «Арабесках»<sup>48</sup>; изредка появлялись тут вечером: покойный С.Н. Трубецкой и покойный В.О. Ключевский<sup>49</sup> (при них я помалкивал); помню, что О.М. Соловьева не раз обращалась ко мне, говоря, что было бы интересно выслушать «Повесть об Антихристе» Владимира Сергеевича; при этом она прибавляла:

– «Вот ведь и вы написали “Пришедшего”; было бы интересно сравнить ваш отрывок с тем, что Володя прочел в Петербурге».

---

<sup>2</sup> В автографе явная описка: 1908-го

Приподымалась во мне на мгновение та же жуткая нота, напоминающая головокружение; думалось: вот увидеть бы мне Соловьева спросить бы его; вся фигура Владимира Сергеевича представлялась мне ныне иной: обведенной какою-то вещью, сердцу близкою тайною. Точно вспугнутый чем-то, молчал я при упоминанье о том, что Владимир Сергеевич скоро будет в Москве; сам прочтет Соловьеву меня волновавшую «Повесть», и что при этом чтении я буду присутствовать, что никого не будет при этом, и что могу я спросить Соловьева о том, что вошло в мою душу невероятным предчувствием еще до появления в свет его слов об Антихристе.

Наконец, в грозный майский денек перед самым началом экзаменов получил я записку от О.М. Соловьевой: «Приходите сегодня (тогда-то) к вечернему чаю; приехал Володя; и – будет читать свою “Повесть”; кроме нас никого не будет».

С волнением я шел: и с волнением пожал я огромную, будто бесильную руку В.С. Соловьева, с благожелательной добротой протянувшую навстречу ко мне; я почувствовал, что я принят в сознание им, что теперь на меня он глядит, как на взрослого; более того, что О.М. Соловьева поговорила с ним обо мне, может быть о моих устремлениях все это я почувствовал в мягком взгляде, в пожатые руки и в неловком молчанье, которое для меня наступило, когда Соловьев, рядом с которым я сел, поглядывая на меня и, по-видимому, от меня ожидая вопросов, помалкивал. Мы заговорили о Ницше; я, путаясь и сбиваясь впадая опять в косноязычную свою немоту, как и в детские годы свои тщетно силился высказать какую-то свою думу о Ницше; он – наморщив свой лоб с развевающейся черно-белою прядью волос, благожелательно перемогал мои косноязычные мысли; помню течение разговора: не помню отчетливо фраз; но одну свою фразу запомнил, и вот она:

– «“Сверх-человек” ведь и есть Богочеловек: только в этом значении может он принят быть».

Я стесняюсь теперь своей фразы: она – глупа и наивна; но – видит Бог: в этой глупой, абстрактной и «голо» составленной фразе хотел тщетно высказать я запутаннейший и сложнейший клубок моих сседающих мыслей; не знаю, понял ли Владимир Сергеевич подоплеку моей глупой фразы, или с своей несказанной ко мне добротой принял глупость мою, видя, как я смущен, только он, вскинув брови и вытянув шею (как будто выпрыгивая головою своей из плечей), грянул басом, казалось, на всю небольшую квартиру:



– «Конечно же, Борис Николаич, вы правы: и – разумеется, это так».

В это время раздался звонок; и Соловьев законфузился; кто-то некстати пришел; и стоял, не раздеваясь, в передней; надо было скорее всем нам выдумать благовидный предлог; и – спроводить неожиданную гостью; я видел, как с добродушной беспомощностью, потирая свой лоб, Соловьев силился что-нибудь выдумать:

– «А нельзя ли сказать, – вдруг нашелся он, – а нельзя ли сказать, что будет скучное, неинтересное чтение».

Гостье сказали (не помню уж что); помню явственно я: как за чаем раскладывал Соловьев свои листики рукописи, невероятно шурша и кидаясь низко склоненным над ними лицом вверх и вниз; я сидел перед ним (прямо напротив); запомнился весь его облик, отмеченный, переутомленный, сожженный, снедаемый какою-то простою, невероятною мыслью; запомнились окна, которые выросли уже потухавшей зарей у него за спиной; были в окнах зарницы; и вот раздался его голос.

По мере того, как читал он, передо мной вновь прошли: невероятные образы, меня посетившие в церкви; прошла моя жизнь, потрясавшая меня все последние годы; и объяснение моей лихорадки нашлось; и прояснились символы жизни.



Если бы помнить все миги, разъединенные друг от друга годами и чрез года объясняющие себя, то многое прояснилось бы мне в «миг» чтения Соловьевым его потрясающей «Повести»; но будто голос прорезался мне сквозь голос гремевшего Соловьева; и этот голос сказал: «Жди меня!»

Этот голос потом подымался: в 1902 году я его услышал в полях; в 1909 году это он выслал мне для спасения милую Нэлли; в 1912 году, когда с Нэлли мы оба слышали зов в гроыхающем Брюсселе, и из Брюсселя бросились в Кельн, этот голос нас встретил в гремящем и все потрясающем голосе Рудольфа Штейнера на его лекции: «Христос и двадцатый век»<sup>50</sup>. И этот голос сказал «*времена исполняются*», когда я, выйдя на площадку вагона, вперился глазами в лазурно-зеленые камни, покрытые пурпурным мохом (то было в Норвегии меж Бергенем и Христианией); я вздрогнул и поднял глаза; я увидел: стоявшего на площадке соседнего с нами вагона и на меня глядевшего строгим, отчетливым, незабываемым взглядом учителя:

доктора Штейнера; громыханье летевших вагонов, пересекающих ледники, блески солнца, пурпуровый мох, – все слилось в один голо излитый из взгляда:

– «Уже времена исполняются». – И под этим стояло: странно вечное, милое совершенно открытым, вперяясь в меня:

«Жди меня!..»

Это все – только смутно, издалека – мне звучало за чтением Владимира Соловьева; стояло, вперяясь в меня, за словами, которыми мы обменялись с ним; он просил принести поскорее отрывок мистери драмы «Пришедший»; хотел его выслушать (был уже первый час ночи); но чтение мы отложили; прощаясь, он жал мою руку<sup>aa</sup>:

– «До осени же, Борис Николаич, мы осенью встретимся; вы мне прочтете отрывок; и мы продолжим наш разговор».

Но разговор оборвался (он летом уже перешел в иной мир)<sup>51</sup>; он продолжился – неоконченный разговор с Соловьевым – в невероятных годах моей жизни: он длился – в Норвегии, при постройке Иоаннова Здания в Дорнахе; в тот же час – открывалась первая антропософская ложа в Москве, посвященная имени Владимира Соловьева<sup>5</sup> я ныне живу около ложи<sup>53</sup>, читаю проникновеннейшие слова, высказанные о Соловьеве учителем моим, Штейнером; и портрет Соловьева глядит на меня вместе с изображением Штейнера).

Он – продолжился, неоконченный разговор с Соловьевым, он длится всю жизнь: с 1900 года до осени 1918-го; восемнадцать лет мой невидимый Спутник ведет меня через годы мои; я не раз ощущал его руку, протянутую мне над безднами; в Брюсселе перед первым свиданием с Рудольфом Штейнером мне таинственно вещали слова Соловьева:

Лишь забудешься сном, иль проснешься в полночи –

Кто-то здесь; мы – вдвоем.

Прямо в душу глядят лучезарные очи

Темной ночью и днем<sup>54</sup>.

Таинственно путь моей жизни ведет меня: от учителя Соловьева к учителю: Рудольфу Штейнеру; встретившее в начале меня меня встречает в конце; долгие годы текли (забывал Соловьева я); но на помнил, вернул Соловьева мне: Штейнер.

Когда-то со мною случился мой миг, разрывающий все (в переживании «Упанишад»); теперь по себе знаю я: человеческий миг, разрывающий все, может явно сказаться: то страхом утери сознания, то

<sup>aa</sup> В автографе: мою, руки

– восторгом полета, освобожденным от лжи этой жизни; воплощениями мигов в события жизни моей мне являются: воплощением первого мига (ужасного) – есть Казимир Кузмич; и еще ряды личностей, сквозь которых гляделся в меня ужас жизни; воплощением мига второго являются мне благие руководители моей жизни: сначала является мне мой директор гимназии, Лев Иванович Поливанов, потом Соловьев, наконец Рудольф Штейнер, меня повернувший теперь на меня самого; и – заставивший прочитать книгу жизни моей (мое прошлое – мне отчетливо: я читаю события прошлого, как отчетливый шрифт; я нашел к нему шифр; настоящее же мне мое непонятно еще: мировые события заслонили его; для себя самого в себе – умер, давно уж живу я в событиях.

#### 40

Я не стану описывать здесь второй биографии: той биографии, о которой сказать может всякий: родился, состарился, умер; ел, пил, увлекался; и – написав толстый том, стал известным в литературных кругах; в этой внешней, второй биографии есть опять-таки два отдельных, очерченных мира; мир внешний, определяемый присутствием или отсутствием насморка; и – мир внутренний, определяемый душевными импульсами, интересами, симпатиями, антипатиями, развиваемыми к окружающим явлениям жизни; по отношению к этому-то второму, душевному миру господствует убеждение, что он есть сокровенное человеческой личности; и вот странно сказать: я в себе отрицаю тот мир; я внимательно вглядываюсь в его рост, в его пышность, в его «сокровеннейшие» переживанья, симпатии, интересы; и – вижу: эфемерную несущественность их.

Мир душевный, иль «внутренний», обыкновенной биографической личности определяется прежде всего: количеством и качеством потребляемой пищи; и во-вторых: теми редкими, молниеносными мигами, присутствие которых никак вы не вскрыете словом, событием биографической жизни. Эти миги, когда мы желаем коснуться их словом, нам кажутся чем-то, напоминающим событие, происходящее в мысли; и поскольку абстрактно берем мы в нас действующую мысль, постольку события, вкрапленные в мир душевный, откуда-то сверху являются абстрактными точками; действие этих «точек» вы начинаете понимать лишь с годами (да и то: далеко не все понимают их); действие их уподобляемо растворению всех чувственных твердых, физических элементов действительности в некую текучую, жидкую, душевную деятельность, многообразно окрашенную. Эта сфера

души есть зависимая переменная *тела* и *духа*; но *дух* действует редко (молниеносными мигами); есть, уверен я, люди, дожившие до седины и не имевшие ни разу духовного мига в сознании; по отношению этих людей, как бы ни была велика одушевленность их импульсов, и в какие бы таланты ни одевали они свои импульсы, — по отношению к ним я могу твердо высказать: они — тело; душевная пульсация у них в ряде лет обыкновенно не бывает пронизана духом; и тело всегда побеждает.

Обыкновенно тот «внутренний мир», о котором так много имеют сказать психологи замечательных личностей, не есть «внутренний мир», но — его порождение, не подчиненное родине и потому с неизбежною силою, подчиняющееся чувственно-телесным аффектам; так «внешний» и «внутренний» мир биографий — мир внешний иль кожа, облекающее нечто, не поддающееся учету; это нечто в нас должно вырвать душу из тела и подчинить ее духу; момент отрывания души от телесного мира сопровождается столь трагичными обстоятельствами внешней жизни, что очень многие, переживающие естественный духовный процесс, уподобляемы умирающим: просветление души в его первой инстанции и есть подлинно смерть; самоубийство, безумие подстерегают здесь, в этой стадии развития подлинно *внутреннего*; здесь оно — беззаконнейшая комета, не открываемая телескопами обыкновенных исследователей; вместо духовного объяснения болезни обыкновенно присутствует подстановка телесных причин; душа схвачена, как клещами, и телом, и духом; если тело господствует, то и трагедии нет; благополучием жизни отмечено существование личности; если дух в человеке сильнее, не уступает он телу; борьба между телом и духом переживается ростом душевных трагедий: «трагическим мирозерцанием личности»: борьба Героя и рока; «Герой» есть всегда только тело, а рок — это неузнаваемый дух; при победе «рока» над личностью наступает иль смерть, иль подлинное рождение духа в сознание *<так!>* человека: *второе* рождение; этим «рождением» в лучшем случае увенчивается жизнь благородного человека; и только у очень немногих *рождение* лишь начало вступления в жизнь (не в какую-либо потустороннюю жизнь в *эту* жизнь); дух-младенец становится: *отроком, юношей, мужем.*

То — путь посвящения<sup>bb ab</sup>.

«Молниеносные миги духовного мира», которых не знают столетия, многие «светлые и душевные» личности, — далеки от *второго* рожде

<sup>abbb</sup> В автографе: То — путь посвящение.

ния, напоминая движение зародыша в материнской утробе. Обычно духовная жизнь за порогом сознания, нам данного; ее вздрагивание одинаково «внутренне» по отношению как к душевному, так и телесному миру; проявляется она, как «Само», о котором Ницше сказал, что «оно» и есть тело; но Ницше ошибся: он прав, полемизируя со всякой душевностью: «Само-» Сердца <?> (иль «Самодух») внедушевно; вероятно, многие «душевные» люди движение зародыша или «Само» в своем внутреннем мире отметят, как приближение сумасшествия, иль болезни: обыкновенно приносит «оно» нам расстройство душевных всех функций; но он < >

*<Листы с окончанием гл. 40 утрачены>*

#### <XIV>

41

С 1899 по 1906 год летами проживал я в имении, в Тульской губернии (я был там и в 1908 году)<sup>55</sup>; дом, коричневатый, одноэтажный, глядел девятью стеклоглазыми окнами в даль пространства, с бугра, обрывающегося над быстрою, чистой серебряной речкою, окаймленной густыми кустами; терраска казалась приподнятой высоко-высоко; если бы сбежать с той терраски и углубиться вдоль дома в аллею, высоковерхие липы, шумя, скрыли б солнце и небо, мечта свои сеточки золотые на красный, хрустевший песок; если бы подняться наверх по дорожке, перпендикулярной к аллее, горбато бегущей все вверх по пологому склону, то вы попали б в обширный квадрат, весь обсаженный старыми тополями; в пространстве меж ними росли молодые, зеленые яблонки; незадолго до этого времени их сажал мой отец; верх квадрата, взбегающий по пологому склону, обсажен был лепетавшими деревцами; то юные тополи приподымали трепещущие вершинки под небо; стоял вечно лепет тут; тут обрывался наш сад глубокою узкой канавой; я говорю – обрывался, потому что строй топольков приподымал, как бы вздергивал четкий квадрат молодого плодового сада; за канавою, непосредственно сверху (пологий склон продолжался); откуда-то сверху, шумя и грустя, набегала, метаяся колосом, рожь; весь бугор сверху сыпался на приподнятый к нему квадрат плодового сада; и казалось, что многошумные волны колосьев стекали в канаву; над пространствами ржи августовскими и июльскими вечерами невероятные совершались закаты; строй топольков как бы оканчивал жизнь усадьбы; за ним, за канавою, набегала на нас необъятность; здесь, казалось мне, все обрывалось. Строй топольков, защищающий нас от ветров необъятности, вызывал во мне смутные

переживания: окончанья всемирной истории; мне казалось: если бы перепрыгнуть канаву, и кануть в бушующей ржи, пробираясь по ней еле видною тропкою, то все затеряется: в золоте, блеске и хаосе этих бушующих волн; буду я пробираться наверх вне истории, дома, вне мыслей обычных моих, весь охваченный шумами вечности к невероятнейшим горизонтам сознания нашего; и я знал, что, поднимаясь с бугра вверх и вверх, попаду я на высшую точку пологого склона, откуда откроется невероятность пространств с четырех сторон горизонта, где каждая точка пространства, если к ней приближаться, развертывается в пространство; и обернувшись назад, видал я, что то место, откуда прошел я (усадебя), скрывалась и падала вниз, отваливаясь от меня; торчали едва лишь верхушки огромнейших лип (а между тем: эти липы и дом наш стояли высоко-высоко над шумною речкою); знал я и то, что, опускаясь по пологому склону в противоположную сторону, я приду к острогранным ребрам дичайшего оскала оврага (тут местность изменится; убегут кругозоры; обрывистый верх с наверху в ветре пляшущим чертополохом поднимется над головою моею, когда я спущусь, перерезая слой лёсса, слой глины до рудобурых железистых камней, вымощивающих русло водотека; стоя же посередине высокой равнины, сбегаящей отовсюду к обрывам реки и к оскалам системы, провалов не видел я; видел пространства перебегающей и бушующей ржи. Стоя здесь, покидал я все мысли об обыденном и связанном с кругом предметов, меня обстающих в действительности; мои мысли охватывали, как и взор, лишь огромнейшие горизонты разбегов истории); был в этом месте, как в космосе, вырванный из повседневного круга занятий, как бы покинувший здесь свою душу, как и души людей, обстающих меня; все «симфонии» мои возникали здесь именно; «Золото в Лазури» (впоследствии, в дни паденья, и «Пепел») писались отсюда; мы имение продали<sup>56</sup>: и потерял для себя это место я; и – изменился разительно литературный мой стиль<:> вместо легких «Симфоний» возник тяжелейший, мучительный мой «Серебряный Голубь»; и вместо моих «Арабесок» возникли статьи, посвященные ритмике<sup>57</sup>.

Останавливаюсь не случайно я на описании этого места; оно мне таинственно связано со второю моею биографией; в продолжение семи лет (от 1899 до 1906 года) то место мне было источником моих знаний о «сокровеннейшем». Здесь я научился всем подступам к духовной науке; здесь мне открывались: Кант, Риккерт; продумывал я «Символизм»; здесь со мной говорил «Заратустра»<sup>58</sup>: здесь был Заратустрою я; между мною и Ницше установились тесные связи; ка-

залось мне, что я не <на> равнинах России, а... на Памире: плато, по которому перебегал я и взад и вперед, называл про себя я шутя крышей Света; а глубочайший овраг, куда сбрасывал камни я (прислушиваясь, как они ударились о каменистое дно водотека), казался обрывом культуры; оттуда, из-за оврага, я знал, наплывает опасность, грозящая нам: желтолицый, многомиллионный восток; вы смеетесь (что ж, смейтесь): я сбрасывал камни, борясь с «востоком» (уж окончивши Университет); и бывали периоды, когда вечером (на закате) я чувствовал долг: бросить все, и, выскочив из дому, пробежав из аллеи по узкой дорожке к плодовому саду, перебежавши квадрат его, постоявши под мне лепечущим топольком, перепрыгнувши чрез канаву; и далее, углубившись в рожь, – повторяю: я чувствовал внутреннейшую потребность подняться к *плато*, осмотреть кругозор, приглядеться к закату; и по цвету его убедившись, что враг, из «*оврага*», пытается приподняться, – спуститься к многогребенному верху; и – сбрасывать камни туда, отражая «опасности»; мое кандидатское сочинение «Об оврагах»<sup>59</sup> (посмейтесь же) обусловлено многолетней игрою моею: *борьбою* с оврагом, ползущим на нас, и статьею Вл. Соловьева, как кажется, озаглавленной: «*Враг с востока*»<sup>60</sup> (где, описуя развитие овражной системы в Самарской губернии, связывает он движение *песков* от востока на запад России с распространением *буддизма* и *желтой* опасностью).

Эти игры мои мне казались вечными играми; здесь, сам с собой, исходил я, играя с Возлюбленной Вечностью<sup>61</sup>, странными жестами (вы сказали бы, *символическими*), казавшимися необходимыми мне; здесь же я сочинял невероятные «*мифы*» о жизни и людях, меня обстающих; из этих «*игр*» восставали мне *томы* моих сочинений; их слова уплотнение – «действий», которых смысл «безрассуден».

Разумеется, об этих «играх» моих, уплотненных в *тома сочинений*, – не знали друзья мои; что я делал во ржи, было строгою тайною; бессознательно «это» был оккультизм моей жизни; я всю зиму томился, в ожидании возвращения на *родину*; родиной же мне не была ни наш дом, ни усадьба, ни парк, а лишь строй топольков; в этом месте, восстав над канавой, прислушиваясь к лепетанию топольков, я прислушивался, собственно говоря, к шуму времени; чувствовал я: времена, налетая на строй тоpoleй, лепетали ветрами событий; старался подслушивать я этот лепет; и этот лепет рассказывал мне о событиях, не имеющих общего ни с событиями нашей жизни усадьбы, ни с злобою дня, ни даже с личною моею душевною жизнью; эта жизнь, раступаясь, обнаруживала свою глубину, как бы некий колодезь, в кото-

ром «Я» личного не было; мне казалось, что в том месте, где был «я», – теперь было небо; и то, что вставало из «недр», проступавших во мне, принадлежало не мне, а такому глубокому небу, с высоко закинутым белым серпом полумесяца; топольки лепетали; если бы уплотнил этот лепет я, то он внятно рассказывал приблизительно вот что:

– «Нет ни общего, ни частного: нет тебя, но и нет ничего, что не «ты»; «Ты = Не ты», «Ты – Еси»: Ты – возлюбленн<ый> мировой; мировая история заострилась в тебе; это ты ее конус. Ты – Всё; Ты и ветер, и травы, и месяц, и мысли о мире, и мир».

Провиденциальный смысл моей личности приподымался какою-то роковой нерассказанной тайной: я – плакал от радости, нежности одновременно – от ужаса перед тем, что «Едиственный» я: сколько раз, вне себя от экстаза, восторга и нежности, я протягивал перед собой свои руки под лепечущими топольками с над ними висящим серпом-полумесяцем; передо мной открывался закат, мне казавшийся леопардовой шкурою; а золотые потоки бушующей ржи набегали с бугра, обливаясь в канаву: я чувствовал, что стою не над канавою я а на конце истории; за канавою там *законечное*, где и время – «*кольцо*», сквозь которое я просунуся, перепрыгнув канаву; отсюда, из этого места текли мои строки:

Надо мною небес водопад.  
Вечногрустной спадая волной,  
Не замает к былому возврат,  
Навсегда просквозив стариной;  
И сквозь зов непрерывных веков,  
Что-то снова коснулось меня,  
Тот же грустно задумчивый зов:  
«Объявись, зацелую Тебя»<sup>62</sup>.

Казалось мне, что в моем появлении на свет – что-то вещее: что «Я» – знамение, что от действий моих в этот миг, от моих бессловесных, в пространство бросаемых жестов, зависят всемирные судьбы истории; оговариваюсь, это все протекало не в ясно осознанной мысли: в домысленном жесте; и, обливаясь слезами восторга и нежности [падал] я под топольком над канавою, лобызая травы, цветы и говоря «Да не будет во имя мое». Невероятная нежность ко всем охватывала в эти миги меня: я отчетливо видел отсюда знакомые души друзей и врагов не в их внешнем, мне явленном облике, а во внутреннейшем устремление их к свету; и я посылая им отсюда безбрежность люб



ви моей к ним; знал: при встречах я никогда не коснусь тех загадочных струн их души, мне отсюда отчетливо видимых; никогда не узнают они всех горячих моих устремлений; помочь им.

Переживанием этим обыкновенно мне разрешались переживания о провиденциальности моей личности; я впоследствии понял, что «Ессе homo» написан был Фридрихом Ницше, как нечто действительно происходящее в душах людей, покидающих обычную почву; но что безумие Ницше произошло оттого, что переживания эти в моменты падения их в его душу не поднимал над душою он; не превращал душу в чашу для собирания *жемчуга слез*, ниспадающих свыше: *слез жалости к ближним*; не делал я «Буддою» Ницше в страннейшие «миги» свои. (Я впоследствии, на могиле у Фридриха Ницше, непосредственно после зачатия свыше «младенца» во мне, переживал по-новому эти старинные миги: то было под Лейпцигом<sup>63</sup>; здесь, под Лейпцигом объяснено прошло предо мной стародавние «миги», пережитые мной в Тульской губернии).

В переживании «слез» умягчался экстаз (иль мгновения «Вечной Гармонии» одного из героев «Бесов»<sup>64</sup>); и я проходил как бы сквозь *врата*, отделявшие мое «я» от «*законечного*» царства покоя; тут я перепрыгивал через канаву (конец всемирной истории) и погружался в рожь, восходил на вершину плато: что-то мягкое, мягкое, мягкое мне подступало тут к горлу; и раздавались слова, звучащие как бы из красного, закатного воздуха:

– «Жди меня».

Кто был «Он»? Тут двоилось во мне осознание переживаний моих: этот «Он» мог быть лишь Христом; но вся обстановка переживания вести о *Нем*, вести, падающей непосредственно от Него и ко мне, была столь противоположна обычному чину молитв и церковному ритуалу, что встающий во мне и ко мне обращаемый голос мог быть лишь Антихристовым; но охваченный невероятнейшим переживанием *на плато*, твердо знал я, что я пойду за *Ним* безрассудно, кем бы ни был *Он* (и если он подымался как продолжение переживаний, которым найдете вы отклик в «Так говорил Заратустра», то все равно: «Я – Его».

Я как бы отвечал:

«Иду за Тобою».<)>

С этими смутными чувствами я возвращался назад; за спиной потухали закаты; шумели колосья; и вырастали откуда-то снизу вершины огромнейших лип; перепрыгивал я канаву; и по мере того, как сбе-

гал я по узкой дорожке, перерезающей поросли яблоков, переживания мои – мой страннейший, огромнейший мир мне сжимался в чуть видную точку; по мере того, как приближался к дому (огни от террасы оповещали меня, что домашние меня ожидают за ужином), меня охватывал круг ежедневности; обыкновенно, я, сидя за ужином, лишь угрюмо молчал; было радостно затаиться и знать, что со мной *моя радость*.

Так отходил я ко сну: до... следующего заката.

Переживания летних закатов во мне отливались: в определенный чин службы; она начиналась с *игры*, продолжалась символическими странными жестами, ведущих к экстазу; но я проходил сквозь экстаз – в *за-экстазное* состояние радости, что *возлюблен* я кем-то.

Кто был этот *Он*, кто был *Я*, им возлюбленный, я не знал: но я знал, что биография моей жизни есть сон, и что «*Я*» – нерожденный от матери.

Так продолжались мои полевые вечерние службы в 1901-м и в 1902 году.

В связи с странными действиями моих *сознательных состояний* возникли во мне все литературные мои темы; и говоря о влиянии на меня того, или другого, почтенные «критики» никогда не учтут, что всему я обязан «*Ему*» – Тому Голосу, который приподымал я во мне. Круг обычной душевности в ту минуту всегда от меня отлипал ярлыками: и «*душа*», подверженная влиянию «быта» и «времени», становилась «*копией*» неузнанного, Зародыша, ей укрытого.

Имя этому зародышу – «*Я*».

В связи с странными действиями моих состояний открылись закаты мне; я внимательно изучил все *тона*, проступавшие в закатах 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 и 1903 года, да так изучил, что безошибочно на полотнах художников по *изображенным* закатам указывал год написанья картин; более того: определенный закат приурочивал я к определенной душе; и, взглянув на закат, разговаривал через него с тайником определенной знакомой мне личности<sup>ас</sup>: так сочетание бледного золота, переходящего в тонкую, стеклянную зелень, во мне сочетались с З.Н.Г.<sup>65</sup>, личность, с которой я был в переписке в то вре-

---

<sup>ас</sup> cc В автографе: личностью

мя; проступающие золотокарие тона сочетались во мне с Д.С.М.<sup>66</sup>, которого я очень любил: я общался с друзьями на *летних* закатах; впоследствии в кругу «символистов» (в эпоху упадка во мне моих нравственных сил и в эпоху расцвета во мне «Ледяного») я строил рассудочно философию красок заката; и Вячеслав Иванов, которому я развивал мои взгляды тогда, их, шутливо смеясь, называл: «Закатологией»; она – вынесена «оттуда». Впоследствии к зорям я повернулся спиной; и описывал «тусклую мглу», противоположную зорям; «зори» вспыхнули много лет спустя: в Христиании, в Бергене, освещали мне Лейпциг, светили мне в Дорнахе<sup>dd ad</sup>

В 1901 году я твердо узнал, что переменялись закаты; до 1900 года светили одни; с 1900 года засветили другие. Я видел: с 1900 года переменялась эпоха<sup>ee</sup>.

<В> 1902 году совершилось со мной два события в моей внутренней жизни: одно совершилось зимою, в Москве; а другое – в деревне, в июле.

В 1902-м году по вечерам отдавался я чтению философии Вл. Соловьева; а по ночам я молился (не час и не два), руководствуясь чином молитв, составленным Серафимом Саровским (тогда еще не «Святым»)<sup>68</sup>.

В этом чине молитв узнавал в переживаниях я внутри себя то же самое, что со мною свершалось в полях, но совсем *по-иному*; чин молитв приводил меня к осознанию себя, как бы стоящим в собственном сердце, блистающем солнечно; я как бы падал внутри Солнца-Сердца около престола, меня согревавшего; раз со мною случилось невероятное: внешний и внутренний мир, комната, где я молился, и жарко гревший сердечный престол слились воедино, в *Одно* неопишемое никакими словами; это одно было «Я», к которому из полей долетало:

«Ты – жди меня».

Но теперь это «Я» само посередине себя вдруг распалось, и то, что стояло теперь внутри «Я», окруженного блесками Сердечного Солнца, взглянуло (не знаю, во что и куда) – из меня самого (или «Я» из Себя самого вдруг взглянул – но куда и во что); и это было не «Я», а... «Христос во мне».

После узнания этого как-то сразу я прекратил все молитвы: переживание это глубоко, глубоко, глубоко запало. Но почему не молился я более? Чувствовал я, что далее нельзя приближаться к заветнейшей

<sup>addd</sup> *Дальнейший текст записан поверх обозначения номера главы: 42.*

тайне с *такой оболочкою* (надо было очиститься, чтобы огонь духовный не сжег); и я – *отступил*.

В 1902 году, летом, однажды я брел по *плато*, переживал события мира: со мной совершалось в полях то же все, что описывал я; но вместо голоса: «Жди меня» раздалось мне отчетливо и – пронеслось ветерочком:

– «Дни текут... Времена накаплиются. Надвигается незакатное, бессрочное. Просится: пора мне в старый мир. Пора сдернуть покровы, развить пелены. Налететь ветром. Засвистать в уши о довременном»<sup>ff</sup>.<sup>ae</sup>

И вдруг голос сказал:

«Се, гряду скоро»<sup>70</sup>.

Тут молнией осенило меня математически точное знание, с которым я не знал, что мне делать; оно противоречило всему строю действительности: мысль заключалась в том, что II-ое Пришествие уже... *начинается*.

Это «*знание*» лежало под спудом десятилетие, безглагольно, безумно; десятилетие навалило на знание это ненужнейший пепел; через 12 лет ровно: нашел я ключи объяснения этому знанию – в Кельне, на первой лекции Штейнера, куда я попал: лекция была озаглавлена: «Христос и XX век». В 1913 году, непосредственно перед летом рождения в «Я», мне открылись: ключ объяснения к знанию; 1902-ой год открылся во мне после лет духовного одиночества: в Кельне и в Бергене. За *это* знание я так страдаю теперь; я за это гоним.

Но Господь не оставил меня.

<На этом текст обрывается>

---

<sup>aeff</sup> Эти слова, как их слышал я, мной записаны и впоследствии вставлены в «Симфонию» «Кубок Метелей»<sup>69</sup> (к сожалению, искаленную «Ледяным»). (Примеч. Белого).

<Фрагменты, местоположение которых в тексте не определено>

<XV>

< <sup>afgg</sup> Меня рисующ<ую> ребенком, потом гимназистом, студентом, потом литератором, и выводящую художественные искания моих книг из характера матери, а умственные из устремлений научных отца, которыми был преисполнен отец мой. Моя биография мне начинается прочно: с переживания космических сфер и пейзажей потусторонней действительности, одушевлявшей года детской жизни; а те постепенные навыки и приобретения рассудка, которыми создаем мы искусственно перспективу «биографических» восприятий – насильственно усвоенное косоглазие, т.е. нечто, уподобляемое привычке, столь свойственной гимназистам: грызть ногти; или – жевать каучук;

<XVI>

[< <sup>hgh</sup> Гопика<?> стиля обыкновенно обстругивает «событие внутренней важности»; и от него попадает в сюжет лишь случайный клочок; «роман» преподносится; критика ищет «идею», вытаскивая ее не оттуда, где скрыта она.

Я напомним читателю, что великие драмы Софокла были вынесены из мистерий; их же центр – «события внутренней важности», происшедшие с потрясенной душой; но история драмы показывает, как членится первоначальная драма, выветривая сокровенные смыслы свои, и порождая пошлейшие фарсы; история развития театра от священной трагедии до оперетки – история развития любого романа в душе у писателя; если нет у писателя той таинственной точки, откуда, как пар, поднимается лучеиспускание мифа, то он не писатель; если же он закрепит не сюжет, а самую точку рождения в нем сюжета, произвольно положенную в основу сюжета, а не самый сюжет, – перед читателем пробегут лишь одни «негодные средства»: обрывки, намеки, потуги, искания; ни отточенной фразы, ни цельности образа не ищите вы в них; косноязычие отпечатается на страницах его дневника; нас займут не предметы живописания, а выражение авторского лица, ищущего ска-< >]

<XVII>

[< <sup>iiab</sup> Быт всей жизни, <вы>текающие отсюда последствия (в них живу до сих пор) – еще мне не понятны; бессвязность течения жизни, какая-то абракадабра – «леса для постройки без самой постройки» – преследует с той поры мои дни; да, я знаю: привычки и навывы

<sup>afgg</sup> Верхняя половина листа с текстом отсутствует.

<sup>agh</sup> Верхняя часть листа с текстом оторвана.

<sup>ahii</sup> Верхняя часть листа с текстом оторвана.

ки, воспитание, груды фальшивых, прочитанных некогда книг автоматически заставляют меня называть обстающие происшествия вытверженными и неверными именами; шрифт, при помощи которого я читал книгу жизни, рассыпан; бессвязные буквы его мне слагают теперь: невероятную ерунду: то *брюнет в котелке – предстает, то встречаю в трамвае благообразного мужа, оповещающего без единого слова меня, что приблизилась помощь, что я защищен*<sup>71</sup>; если бы я принимал вместо павшей действительности за действительность новую эти случайные слоги букв, перепутанных *событием*]

- 1 Имеется в виду Ярославский вокзал в Москве. Фаворит царского двора Г.Е. Распутин был убит 17 декабря 1916 г. кн. Ф.Ф. Юсуповым, В.М. Пуришкевичем, вел. кн. Дмитрием Павловичем и др. Белый откликнулся на это событие стихотворением «Декабрь 1916 года» (в автографах – под заглавием «С праздником!»). См.: *Андрей Белый. Стихотворения и поэмы.* СПб.; М., 2006. Т. 1. С. 396, 620 («Новая Библиотека поэта»).
- 2 Владимир Львович Бурцев (1862–1942) – публицист, издатель. В статье «Или мы, или немцы и те, кто с ними», опубликованной в газете «Русская Воля» 7 июля 1917 г., указал, как на «наших общих врагов», на большевиков, которые «по своей деятельности, всегда являлись, вольно или невольно, агентами Вильгельма II», и привел перечень 12 наиболее вредных лиц (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев и др.); в газете «Общее Дело» опубликовал список 159 фамилий политических эмигрантов, вернувшихся в Россию через территорию Германии.
- 3 Белый переправлялся на пароходе через Немецкое (Северное) море из Англии в Норвегию (Берген) 26 – 27 августа (н. ст.) 1916 г.
- 4 Подразумевается пребывание Белого и А. Тургеневой в Бергене 8 – 10 октября 1913 г.; 9 октября Р. Штейнер прочитал там публичную лекцию «Загадки жизни».
- 5 «Одно, навек одно!» – начальная фраза стихотворения Вл. Соловьева «Знамение» (1898). См.: *Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы.* Л., 1974. С. 119 («Библиотека поэта». Большая серия).
- 6 В Христиании, где Р. Штейнер с 1 по 6 октября 1913 г. выступал с курсом лекций «Пятое Евангелие», Белый и А. Тургенева приняли окончательное решение связать свою судьбу с антропософией.
- 7 Подразумевается тема Валгаллы (в скандинавской мифологии находящаяся на небе жилище павших в бою храбрых воинов) в оперной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (1869 – 1876).
- 8 «Парсифаль» – опера-мистерия Р. Вагнера (1882).
- 9 Подразумевается марка на изделиях Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» в Петербурге. Белый обыгрывает этот образ в памфлетной статье «Штемпелеванная калоша» (1907; см.: *Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма.* В двух томах. М., 1994. Т. II. С. 311–315).
- 10 Кундри – героиня «Парсифаля» Вагнера; девушка, беспрекословно повиновавшаяся воле чародея Клингзора.

- 11 Евно Фишелевич Азеф (1869 – 1918) – один из основателей и лидеров партии социалистов-революционеров, глава ее Боевой организации; провокатор, с 1893 г. – секретный сотрудник Департамента полиции. Разоблачен в 1908 г. В.Л. Бурцевым.
- 12 Монреале – городок на Сицилии близ Палермо. Белый и А. Тургенева находились там в конце декабря 1910 г. – начале января 1911 г., в Каире – во второй половине марта и начале апреля 1911 г. В Дорнахе (Швейцария) на строительстве антропософского храма-театра Гетеанума (Иоанново здание) они работали (с перерывами) с марта 1914 г. В середине августа 1916 г. Белый выехал из Швейцарии на родину.
- 13 В Христиании и Льяне (близ Христиании) Белый был 29 августа 1916 г.
- 14 Героиня романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1880).
- 15 В Льяне Белый и А. Тургенева жили с середины сентября до 8 октября 1913 г.
- 16 Выражение из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», вынесенное в заглавие гл. V кн. 3-й («Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами”»). См.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. В 30-ти т. Л., 1976. Т. 14. С. 106).
- 17 Из квартиры в Никольском пер. (близ Арбата) в квартиру на Садовой Курдинской ул. (д. 6) Белый переселился 14 – 15 февраля 1918 г.
- 18 Белый впервые познакомился с упанишадами (древнеиндийские философско-религиозные произведения, заключительная часть ведийской литературы) весной 1896 г. по публикации: *Джонстон Вера.* Отрывки из Упанишад // *Вопросы Философии и Психологии.* 1896. Кн. 31 (1). С. 1-34.
- 19 Книга английского моралиста Сэмюэла Смайльса (1812 – 1904) «Бережливость» была издана в 1876 г. в трех русских переводах – Е. Сысоевой (СПб.; изд. 2-е – СПб., 1895), С. Майковой (СПб.) и под ред. Н. С. Кутейникова (СПб.).
- 20 «Система логики» (1843) английского философа-позитивиста, логика и экономиста Джона Стюарта Милля (1806 – 1873), неоднократно издававшаяся в русских переводах, и «История цивилизации в Англии» (1857 – 1861; рус. перевод 1863 – 1864) английского историка и социолога Генри Томаса Боуля (1821 – 1862).
- 21 Московские книжные магазины Вл. Готье и Ал. Ланга.
- 22 «Вопросы Философии и Психологии» – журнал Московского психологического общества, начатый изданием в 1899 г. под редакцией Н.Я. Грота (с 1894 г. соредактор – Л.М. Лопатин). Издавался до 1918 г.
- 23 Об «упоительных чтениях» романов английского прозаика Томаса Майн Рида (1818 – 1883) Андрей Белый вспоминает в мемуарной книге «На рубеже двух столетий» (М., 1989. С. 221, 299).
- 24 Многочисленные латинские предлоги: cum – с, вместе (наряду) с; в сопровождении; совместно, в союзе; с помощью, при посредстве и др.; ut – как; так как, поскольку; как только; с тех пор как; для того чтобы и др.
- 25 Белый жил (до осени 1906 г.) в доме Рахманова на углу Арбата и Денежного переуллка, учился (в 1891 – 1899 г.) в частной гимназии Л.И. Поливанова на Пречистенке (современный адрес – д. 32).
- 26 Преподаватель латинского языка в гимназии Л.И. Поливанова (с 1882 г.) – Казимир Клементьевич Павликовский. См.: *Андрей Белый.* На рубеже двух столетий. С. 292-298, 302-304.
- 27 Эон – понятие, лежащее в основе философии гностиков, но известное также в древней Греции; связано с представлением о времени (абсолютное вы-

- ражение времени). Андрей Белый в комментариях к своей статье «Эмблематика смысла», излагая положения «Тайной доктрины» Е.П. Блаватской, указывает, что время одного из двух состояний мира «делится на семь периодов или Эонов, обнимающих в совокупности период в 311 триллионов лет» (*Андрей Белый*. Символизм: Книга статей. М., 1910. С. 491-492); также упоминает «бесконечные лестницы эонов в философии гностиков» (*Андрей Белый*. На перевале. II. Кризис мысли. Пб., 1918. С. 82).
- 28 О чтении во время уроков латыни норвежского прозаика и драматурга Бьернстjerne Мартинуса Бьерсона (1832 – 1910) и норвежского драматурга и поэта Генрика Ибсена (1828 – 1906) Белый пишет и в мемуарах «На рубеже двух столетий» (С. 295).
- 29 Рекреационный зал – в учебных заведениях зал для отдыха и игр учеников.
- 30 Французский прозаик Жорис Карл Гюисманс (1848 – 1907) и американский поэт и прозаик Эдгар Аллан По (1809 – 1849); последнему принадлежит всего один роман – «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» (1838).
- 31 Макс Штирнер (наст. имя Каспар Шмидт; 1806 – 1856) – немецкий философ-младогегельянец, теоретик индивидуалистического анархизма, обоснованного в книге «Единственный и его собственность» (1845).
- 32 Рассказывая о том же в мемуарах «На рубеже двух столетий», Белый упоминает в этой связи «профессора детских болезней» Николая Сергеевича Корсакова (С. 372).
- 33 Джон Рескин (1819 – 1900) – английский писатель, теоретик искусства, публицист, искусствовед. Его эстетическими идеями заинтересовала Белого О.М. Соловьева – переводчица Рескина на русский язык (см.: Сезам и Лили. Три лекции Джона Рескина / Пер. О.М. Соловьевой. М., 1901).
- 34 Петербургский журнал «Северный Вестник», основанный в 1885 г., в 1890 – 1891 гг. перешел в руки Л.Я. Гуревич и А.Л. Волынского, которые открыли доступ на его страницы идеалистической эстетике и новейшим литературным веяниям; А.Л. Волынский стал главным идеологом журнала.
- 35 Имеется в виду писательница и общественная деятельница, основательница (в 1875 г.) Теософского общества Елена Петровна Блаватская (1831 – 1891), опубликовавшая (под псевдонимом Радда-Бай) книгу «Из пещер и дебрей Индостана. Письма на родину» (М., 1883).
- 36 Имеется в виду страстная неделя 1898 года: 29 марта – 4 апреля. Среда – 1 апреля.
- 37 См.: *Андрей Белый*. Пришедший. Отрывок из ненаписанной мистерии // Северные Цветы. Третий альманах книгоиздательства «Скорпион». М., 1903. С. 2-25. Еще один фрагмент, восходящий к тому же замыслу, был опубликован под заглавием «Пать ночи. Отрывок из задуманной мистерии» в журнале «Золотое Руно» (1906. № 1. С. 62-71). Черновые рукописи, относящиеся к этому произведению, напечатаны отдельным изданием: *Andrej Belyj. Antichrist / Edizione e commento di Daniela Rizzi. Андрей Белый. Антихрист. Набросок к ненаписанной мистерии / Публ., вступ. статья и примечания Даниелы Рицци. Trento, 1990.*
- 38 «Civitas solis» – латинское заглавие утопии итальянского ученого и писателя Томмазо Кампанеллы (1568 – 1639) «Город солнца» («La città del sole», 1602).
- 39 Подразумевается работа Белого и А. Тургеневой в 1914 – 1915 г. на строительстве Гетеанума (Иоаннова здания) в Дорнахе.
- 40 Одна из «херувимских песен», возглашаемых на Литургии Преждеосвященных Даров во время Великого поста.



- 41 В «Материале к биографии», последовательно фиксирующем события жизни с конкретными хронологическими указаниями, Белый относит описанные выше переживания во время великопостного богослужения к весне 1898 г. (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 10).
- 42 Имеется в виду Борис Николаевич Чичерин (1828 – 1904) – юрист, историк, публицист, профессор Московского университета.
- 43 Михаил Сергеевич Соловьев (1862 – 1903), педагог, переводчик, и его жена Ольга Михайловна Соловьева (урожд. Коваленская; 1855 – 1903), художница, переводчица. Белый познакомился с Соловьевыми в конце 1895 г.
- 44 Ср. изображение Вл. С. Соловьева в квартире брата за игрой в шашки в поэме Белого «Первое свидание» (*Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Т. 2. С. 42*).
- 45 Подразумевается директор гимназии Лев Иванович Поливанов (1839 – 1899).
- 46 Первые фрагменты этого произведения были записаны Белым в апреле 1898 г.
- 47 Лекция о конце всемирной истории, включавшая «Краткую повесть об антихристе», была прочитана Вл. Соловьевым в Петербурге в марте 1900 г.
- 48 «Арабески. Книга статей» (М., 1911) – книга Андрея Белого, включающая многие из его критико-публицистических статей и прозаических этюдов 1900-х гг.
- 49 Профессора Московского университета – религиозный философ, публицист, общественный деятель князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862 – 1905) и историк Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911).
- 50 Белый и А. Тургенева приехали из Брюсселя в Кельн 6 мая 1912 г., в этот день впервые прослушали лекцию Р. Штейнера, а на следующий день имели у него личную аудиенцию. Подробный рассказ об этом – в письме Белого к А. А. Блоку от 1/14 мая 1912 г. (Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 1903 – 1919. М., 2001. С. 457-461).
- 51 Вл. С. Соловьев скончался 31 июля 1900 г.
- 52 Открытие Русского антропософского общества состоялось в Москве 7/20 сентября 1913 г. См.: *Волошина Маргарита (Сабанинкова М.В.)*. Зеленая Змея. История одной жизни / Пер. с нем. М.Н. Жемчужниковой. М., 1993. С. 229-230, 376-377 (примечания С.В. Казачкова и Т.Л. Стрижак); *Maydell Renata von. Vor dem Thore. Ein Vierteljahrhundert Anthroposophie in Russland*. Bochum; Freiburg, 2005. S. 157-158.
- 53 Зимой 1917 – 1918 г. Антропософское общество обосновалось по адресу: Садовая Кудринская, д. 6, кв. 2.
- 54 Неточно приводится первая строфа стихотворения Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи...» (1898). См.: *Соловьев Владимир*. Стихотворения и шуточные пьесы. С. 133. Эту же строфу Белый приводит в письме к Блоку от 1/14 мая 1912 г., описывая свои переживания, предшествовавшие поездке в Кельн на лекцию Штейнера (Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 454-456).
- 55 Речь идет об имении Серебряный Колодезь (Старогальская волость Ефремовского уезда Тульской губ.), приобретенном отцом Белого Н.В. Бугаевым осенью 1898 г.
- 56 А.Д. Бугаева, мать Белого, продала имение в 1908 г.
- 57 Подразумеваются четыре статьи по стиховедению (1909), впервые опубликованные в книге Белого «Символизм».

- 58 Белый внимательно изучал философию Иммануила Канта летом 1902 г. 1903 г., философскую поэму Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» («Also sprach Zarathustra», 1883 – 1885) впервые прочел в немецком подлиннике летом 1902 г.; к построениям немецкого философа-неокантианца Генриха Риккерта (1863 – 1936) впервые проявил интерес летом 1905 г.
- 59 Выпускная работа Белого – студента естественного отделения физико-математического факультета Московского университета (1903); текст ее не обнаружен.
- 60 Статья Вл. Соловьева была опубликована в «Северном Вестнике» (1892 Июль. С. 253-264). См.: *Соловьев В.С. Сочинения. В двух томах. М.: Правда, 1989. Т. 2: Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика. С. 432-444.*
- 61 Образ из стихотворения Белого «Образ Вечности» (1903): «Образ возлюбленной – Вечности // встретил меня на горах» (*Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. Т. 1. С. 95*).
- 62 Неточно цитируются фрагменты из первого стихотворения («Пронизала вершины дерев...»), входящего в цикл «Вечный зов» (1903) (Там же. С. 85, 86).
- 63 Свои переживания, вызванные посещением могилы Ф. Ницше в Рёкене под Лейпцигом 3 января (н. ст.) 1914 г., Белый подробно описал в «Материале к биографии» (*Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. 6. Paris, 1988. С. 367-368*).
- 64 Имеется в виду Кириллов; его слова Шатову: «Есть секунды, их всего зарано приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой» («Бесы», ч. 3, гл. 5, глава V). См.: *Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 450*).
- 65 З.Н. Гиппиус.
- 66 Д.С. Мережковский.
- 67 Агриппа Неттесгеймский (1486 – 1535) – деятель немецкого Возрождения, мыслитель-окультист.
- 68 Один из наиболее почитаемых святых Русской православной церкви Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин; 1754 или 1759 – 1833) был канонизирован в 1903 г. См.: *Malmstad John E. Andrey Bely and Serafim of Sarov // Scottish Slavonic Review. 1990. Vol. 14. P. 21-59; Vol. 15. P. 59-102.*
- 69 Неточно цитируется глава «Молитва о хлебе» части второй («Сквозные лики») четвертой симфонии «Кубок метелей» (1908). См.: *Андрей Белый. Симфонии. Л., 1991. С. 320.*
- 70 Откр. 22: 20.
- 71 Встречу в Брюсселе в трамвае с незнакомцем, которой Белый склонен был придавать провиденциальный смысл, он обрисовал в письме к А. Блоку от 1/14 мая 1912 г. (*Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 455-456*).